



Павел
Загребельный

ЮРИЙ

ДОЛГОРУКИЙ

Смерть в Киеве

Павел Архипович Загребельный Юрий Долгорукий

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8320731

Загребельный, Павел Архипович Юрий Долгорукий : ист. роман: АСТ;

Москва; 2014

ISBN 978-5-17-084854-6, 978-5-17-145503-3, 978-5-17-144788-5

Аннотация

Исторический роман известного писателя П. А. Загребельного (1924–2009) рассказывает о жизни и деятельности великого киевского князя Юрия Владимировича, прозванного Долгоруким.

Содержание

От автора	5
Смерть первая	7
Конец ознакомительного фрагмента.	200

Павел Загребельный

Юрий Долгорукий

(Смерть в Киеве)

© Загребельный П. А., наследники, 2014

© ООО «Издательство АСТ», 2014

От автора

Князь Юрий Долгорукий (1090–1157) известен как основатель Москвы. Уже за одно это он заслуживает вечной благодарности потомков.

Хотя, к сожалению, летописцы, а позднее некоторые историки, начиная от В. Татищева, не были справедливы в отношении Юрия Долгорукого и сделали все для того, чтобы обесславить его.

Факты же свидетельствуют о том, что Долгорукий был одним из выразителей народного стремления к единству нашей земли, боролся за это до самой своей смерти.

Боярство и церковники всячески мешали Долгорукому в его деятельности, выставляя против него таких послушных им князей, как Изяслав Киевский. Они не останавливались перед тягчайшими преступлениями, лишь бы только опозорить Долгорукого, не допустить его в Киев.

Сложилось так, что об этом периоде наши летописцы дают самые подробные сведения. Вся Киевская летопись, ставшая составной частью Ипатьевской, посвящена описанию борьбы Долгорукого с Изяславом. После внимательного сопоставления фактов и очищения их от наслоений, пристрастных оценок и несправедливых суждений эта 800-летняя история прочитывается сегодня как еще одно из свидетельств об извечном стремлении народов нашей необъятной страны

жить в дружбе, согласии и единстве.

Смерть первая

Суздаль

Киев был полон мягкого сияния. Оно лилось сверху, со спокойного осеннего неба, высоко вознесенного над киевскими горами, снизу навстречу ему поднималось сияние зеленое, а между зеленым и небесно-голубым тихо струилось-переливалось золото соборов, легко ложилась между ними первая желтизна листьев, это мягкое свечение словно бы проникало в душу, и невольно казалось, будто и сам ты, входя в этот город, становишься бессмертным.

Но Дулеб хорошо знал, что за этим спокойным сиянием неистребимо стоит свежее напоминание о смерти, случившейся в Киеве, – поэтому въезжал он в город без радости, а если бы имел возможность выбирать, то, наверное, охотнее отряхнул бы на город прах с ног своих по обычаю апостольскому, чем отправился по улицам, где еще неделю назад тащили тело убитого князя Игоря.

Дулеб не был апостолом, он был всего лишь княжым лекарем приближенным, получил неожиданную власть не только над плотью князя, но и над его душой, и случилось так, что великий князь киевский Изяслав Мстиславович поставил Дулеба выше всех довереннейших бояр, воевод и тысяцких. И когда в походе против черниговских князей при-

шла вдруг весть об убийстве Игоря в Киеве, Изяслав тайно послал Дулеба гнать след в этом тяжком и кровавом деле.

Дулеб въезжал через Софийские ворота. Был утомлен и хмур, сияние киевское словно бы и не касалось его, зато щедро проливалось оно на Иваницу, который с надлежащим почетом к своему хозяину ехал чуточку позади, был, как всегда, беззаботно-улыбчивым, светел лицом и поражал каждого встречного несказанной чистотой своего взгляда.

Еще раньше они проехали Подольскую торговицу – это последнее печальное пристанище мертвого Игоря, куда привезли его после убийства с Горы на простом одноконном возу, – затем окуривались дымами Гончаровки, в нарочитой неторопливости пробирались сквозь смрад Кожемяк, – Дулеб выбирал самые нищие, самые грязные улочки нижнего Киева, так, словно бы стремился хотя бы этим искупить смерть князя. Иванице же всюду было одинаково, он точно так же сиял чистотой глаз своих повсюду, никакая печаль не донимала его, да и ничто на этом свете, казалось, не могло омрачить его ясную душу.

От Софии Дулеб повернул коня по той дороге, по которой тогда должна была лететь разъяренная толпа киевлян с намерением вытащить князя Игоря из монастыря святого Феодора и свершить над ним свой суд – скорый и неправый. Все указывало на то, что Дулеб вот так проедет через мостик перед воротами в старый Владимиров город, возле монастыря святого Феодора и Мстиславова княжьего двора, затем на

Бабьем торжке придержит коня и, не заботясь о том, едет за ним Иваница или нет, повернет назад, чтобы проследить еще раз смертный путь князя Игоря, теперь уже не в обратном, а в истинном направлении, и быть может, пережить этот путь или же найти на нем начало следов, которые со временем он должен распутать до конца.

Собственно, Дулебу и незачем было кружить по этому кругу смерти. Он мог бы потом пустить по нему самого Иваницу, хотя тот, при всей своей видимой беззаботности и привычке не вмешиваться в дела своего хозяина, уже и так увидел все, что и должен был увидеть. Обо всем остальном не беспокоился: знал, что все вести, явные и тайные, сами придут ему в руки без малейших усилий, как это уже было не раз и не дважды, нужно лишь набраться необходимого терпения.

Но даже Иваница удивился Дулебу, когда тот не стал прослеживать до конца смертный путь Игоря, не попытался также незамеченным скрыться в большом городе, а сразу же, как только проехал ворота Владимирова города, направился к вратам монастыря святого Феодора и изо всех сил ударил в деревянную колотушку.

Напрасным было бы ждать, что после недавних событий здесь охотно будут открывать каждому, и Дулеб поднял было руку, чтобы еще раз ударить в колотушку, но сбоку от ворот открылось скрипящее окошко и заросшее до самых глаз черной бородой лицо молча уставилось на пришельцев.

– К игумену Анании, – глухо произнес Дулеб и, заметив

недоверие чернобородого монаха, добавил: – От великого князя Изяслава.

При этом он прикоснулся пальцами к золотой гривне Изяслава, которую имел на шее. Иваница радостно посматривал на бородатого монаха, с еще большей радостью смотрел он на своего хозяина и на его драгоценную гривну, такая улыбка суждена лишь тем, кто прибывает с вестями добрыми, поэтому монах, еще малость поколебавшись и похлопав глазами, загремел тяжелыми засовами на монастырских воротах. Он спохватился лишь тогда, когда оба всадника так и въехали на монастырский двор верхом, не слезая с коней, будто половцы поганые. Хотел изречь нечто гневное, поднял руку, быть может и для проклятий, но Дулеб спокойно сказал ему:

– Закрывай ворота, чтобы никто не видел...

Так, будто перед этим весь Бабий Торжок не наблюдал, как они святотатственно въезжали в монастырь.

Все-таки Дулеб соскочил с коня, то же самое сделал и Иваница, но не из уважения к святому месту, а лишь из потребности размять затекшие от долгой езды ноги.

Привратник долго возился с тяжелыми засовами.

– Варяжские причиндалы, – следя за усилиями монаха, заметил Иваница, и трудно было понять – размышляет ли он вслух с самим собою или же обращает внимание своего хозяина. Но Дулеб и сам уже успел заметить все: и прочную стену, монастырскую каменную, и тяжеленные из дубовых бревен ворота, и замысловатые запоры на воротах, и монастыр-

ские строения из серого, непривычного для Киева, камня. Только и было здесь киевского, что деревья; высокие, пышнолистые, развесистые деревья скрывали неуклюжесть монастырских каменных строений, но одновременно и подчеркивали их тяжеловесность, их чуждый для этой щедрой земли дух твердости, суровости, черствости.

Монастырь основал покойный великий князь Мстислав, сын Мономаха от Гиты, дочери английского короля. Уже у самого Мстислава было достаточно в крови северной суровости, да еще к тому же был он женат на дочери свейского конунга Христине, – вот почему, наверное, и возводились эти строения в соответствии с привычками князя и княгини, разыскивался где-то серый тяжелый камень, ломался и переправлялся по рекам в Киев, чтобы лечь вот здесь, в стены церкви, келий и служб, творить святость именно такую, какой она представлялась мрачным северным душам. Последнее пристанище свое великий князь Мстислав и княгиня Христина нашли в этом суровом прибежище, обоих похоронили в монастырской церкви; со временем должна была упокоиться здесь навеки вторая жена Мстислава, которая тем временем еще жила на княжьем дворе с сыновьями своими Владимиром и Михалком, но никто не думал, что неприступная эта обитель станет местом смертоубийства, в особенности же смертоубийства княжьего.

Казалось бы, человек, укрывшийся за этими камнями, за этими запорами тяжелыми, может навсегда отбросить забо-

ты о собственной безопасности. На самом же деле вышло так, что камень этот не спас князя Игоря, а, наоборот, словно бы лишил его возможности спастись, уклониться от угрозы, убежать от нападающих.

Ясное дело, можно было бы удивляться, как это удалось толпе так легко, быстро и просто прорваться в монастырь, но Дулеб не любил торопливости ни в чем, не хотел спешить и в таком новом для него деле, как установление истины об убийстве человека не простого звания.

– Теперь проводи нас в келию убиенного, – велел Дулеб привратнику, когда тот наконец управился со своими засовами.

Можно было бы спросить у него, так ли он хлопотал о своих запорах и в тот день, когда был убит князь Игорь, но сказано уже, что Дулеб не любил торопливости ни в каком деле, поэтому и не спрашивал ни о чем. Зато привратник раскрыл рот, видно для какого-то вопроса, но Дулеб, будто не хотел слышать его голоса, опередил его.

– Убиенного, – сказал он, – в келию убиенного князя Игоря, схимника вашего.

Путаясь в долгополой и, кстати, довольно новой рясе, монах провел их между деревьями, провел мимо церкви, мимо тяжелых, приземистых строений и молча ткнул рукой в направлении то ли еще какого-то здания, то ли просто вороха серых камней, затем отступил в сторону, с нескрываемым осуждением во взгляде следил, как эти двое ведут своих ко-

ней к месту святому издавна, а теперь еще и освященному мученической смертью бывшего хозяина.

– Останемся здесь, – бросил Дулеб монаху, – скажи отцу игумену об этом.

Он передал повод своего коня Иванице и пошел между деревьями к тому нагромождению серых камней, которое совсем еще недавно служило жильем для князя Игоря. Скит лишь внешне поражал дикой непривлекательностью, внутри же отличался неожиданной ослепительной белизной и уютом. Здесь было две маленьких кельи: прихожая и ложница. В обеих была простая, но удобная деревянная обстановка. На стенах – две маленькие иконки с изображением мук Христовых. Ничто не указывало на сановитость бывшего обитателя, разве лишь большая оленья шкура, небрежно брошенная на деревянный топчан в ложнице, да еще в углу прихожей два посоха из дорогого заморского дерева.

Все это Дулеб осмотрел мгновенно, вполглаза, ибо и осматривать, собственно, здесь было нечего, одновременно он оценил все удобства этого уединенного места для своего необычного дела, поэтому, когда в дверях появился игумен монастыря отец Анания, доверенный великого князя знал уже твердо: они с Иваницей пробудут здесь именно столько, сколько понадобится для завершения дела, еще и не начатого.

Игумен более естественно выглядел в этих белых, чистых и тихих кельях, чем среди диких камней, наваленных меж-

ду зелено-золотыми киевскими деревьями на монастырской усадьбе. Был он маленький, худой как щепка, белорукий, с тщательно подстриженной бородой; все в нем так и сверкало чистотой и вымытостью, на новехонькой черной рясе красиво лежал золотой, с самоцветами, крест на золотой же цепи, создавалось впечатление, будто перед Дулебом появился во все и не игумен монастыря, этой обители бедности, молитв и воздыханий, а высокий иерей церкви. Игумен поднял маленькую вялую руку то ли для благословения, то ли, быть может, наоборот, чтобы прогнать непрошеного гостя, и Дулеб точно так же, как перед этим поступил с монахом, желая предупредить речь отца Анании уже раскрыл рот, чтобы сообщить ему все о себе, но на сей раз более проворным оказался хозяин.

– Сказано уже, – как-то вроде бы брезгливо промолвил игумен и скривил губы, – знаю, что посланы великим князем. Но ведь кони...

– Здесь нам будут надобны, – твердо сказал Дулеб, возненавидев игумена за одно лишь искривление его губ и с трудом подавляя желание швырнуть ему в лицо десяток страшных вопросов, на которые у того не могло быть ответов.

– Не ведаю токмо, – снова начал было игумен и снова прервал его речь Дулеб:

– Зовусь Дулеб, приближенный лекарь великого князя Изяслава, а это товарищ мой – Иваница.

– Слуга, – уточнил игумен.

– Товарищ, – твердо повторил Дулеб, – а также помощник в моем деле.

– Тут исцеляют души, а не тело, – напомнил игумен, по-прежнему не сходя с порога и, следовательно, еще не выражая своего отношения к посланцам.

– Не для лечения посланы мы, – промолвил Дулеб. – Надлежит нам пройти по следу смерти, что здесь случилась.

– Не здесь, – снова неприятно поморщился игумен. – В Киеве.

Дулеб подошел к нему, надвинулся своей грузной фигурой.

– Разве монастырь не Киев? – спросил он тихо.

– Здесь только деревья растут быстро и легко, как в Киеве, последовал ответ.

– А пороки?

Этим Дулеб уже откровенно намекал на виновность монастыря, а то и самого игумена в том великом преступлении, которое свершилось в Киеве, намекал, быть может, и преждевременно и даже вопреки своему неторопливо-спокойному обыкновению, но слишком уж надменно держался игумен Анания и спешил выразить свое презрение к князьему лекарю. Презрения же Дулеб не терпел ни от кого.

Вот так и стояли они друг перед другом; впервые встретились, а уже враги до самой могилы, враги заклятые, упорные, пока беспричинные. Просто у каждого было какое-то положение в жизни, и он должен был по-своему его защищать,

отсюда неуклонно рождалась враждебность. Это неважно, что оба они служили одному и тому же князю. Собственно, сам князь и послужил причиной их стычки, он не подумал, как это неуместно посылать одного своего слугу, скажем, слишком земного, телесного, проверять и выпытывать слугу небесно-духовного. Низшего он послал против высшего, а от этого добра не жди никогда.

Игумен Анания и не ответил на последнее слово Дулеба. Пренебрежительным молчанием он подчеркнул неуместность и непристойность вопроса. Стоял гордо выпрямившись, смотрел мимо Дулеба куда-то в пространство, смотрел в прошлое, видел там торжества высокие и не будничные, видел свое вознесение, когда великий князь Мстислав доверил ему сей монастырь княжий, где с тех дней бывали только люди значительные и славные вельми, потому что монастырь стал словно бы продолжением княжьего двора: здесь происходили не только моления, но и пиршества княжьи, в палатах игумена принимали гостей со всего света, и все это были лица княжьего, а то и королевского достоинства, ведь известно же, что у великого князя Мстислава первой женой была Христина, дочь шведского короля Инга Стейнкельса, из уважения к высокому происхождению своей жены киевский князь детей от нее называл по-варяжски: сыну Изяславу дано еще второе имя Гаральда, дочерей называли Малфрид и Ингеборг. Малфрид стала женой сына норвежского короля Сигурда, когда тот возвращался из крестового похода в

землю ромеев через Киев. Овдовев, Малфрид вышла замуж за датского короля Эрика, а Ингеборг выдана была за брата его Кнута Лаварда, властителя славного торгового города Любек, откуда в Киев прибывали богатые послы с дарами и приношениями, и без конца восхваляли Мстиславова зятя, и гостили попеременно то у самого князя, то в монастыре святого Феодора в палатах игумена. Когда же умерла Христина, князь Мстислав взял себе в жены дочь богатого новгородского боярина Дмитрия Завидича, имел от нее сыновей Святополка, Владимира, Михалка и двух дочерей. Одна из них, Евпраксия, стала женой ромейского царевича Алексея Комнина, а другая была выдана за черниговского князя Всеволода Ольговича, доказавшего свою силу изгнанием из Чернигова своего дяди Ярослава, а после смерти Мстиславова брата Ярополка, который отверг всех Мономаховичей, князь сел и на стол Киевский, не забывая милостями своими монастырь святого Феодора и его игумена Ананию. Коротким было княжение и Игоря, брата Всеволода, а сразу после него сел в Киеве Мстиславов сын Изяслав; когда же Игорь попросил у Изяслава дозволения постричься в монастырь, то избрал опять-таки эту княжью обитель, не ведая, что отсюда пролегает путь в смерть насильственную, но это уже дела не людские, а божьи, вмешиваться в них никому не дано, в особенности же такими грубыми руками, как у этого княжеского прислужника, который нагло ворвался в монастырь со своим холопом, да еще и с парой коней, – вещь неслыханная

и возмутительная.

Так стоял перед Дулебом игумен Анания, ощущая за собой ряды князей, королей, высокородных жен и детей, а еще имея своим покровителем бога, которому служил в течение всей своей жизни, Анания стоял спокойно-уверенный, исполненный презрения к этому человеку, который хотя и имел высокие полномочия от князя, но были они временные, на земле же временное не имеет значения, – ценится лишь постоянное, которое так или иначе соприкасается и с вечностью.

Дулеб чувствовал свое превосходство в простых и будничных делах и хорошо ведал, что ничего более важного ныне в Киеве нет и быть не может. Ибо впервые в истории этого великого города убит князь, убит беспричинно, позорно и унижительно, убит, собственно, уже и не князь, ибо Игорь, став монахом и приняв схиму, потерял власть и значение. Следовательно, убийство было таинственно-загадочным, никак не укладывалось в обычные представления о киевлянах, этих вольных и гордых людях, которые впускали к себе князя какого хотели, могли и выгнать из города нежелательного князя, будь он даже сыном великого Ярослава, как это было некогда сделано с Изяславом Ярославовичем; могли разгромить дворы княжьих прислужников, надоевших своей жадностью и неправдами; могли, пренебрегая рядом и старшинством, призвать к себе князя, который был люб их сердцу, как это учинили они с Владимиром Мономахом, за которым

послали в самый Переяслав, еще и пригрозили при этом, что ограбят все монастыри, ежели он откажется занять высокий стол. Всё могли гордые и независимые киевляне, но чтобы вытаскивать из монастыря больного бывшего князя, найти его даже в монастырской церкви, перед иконой божьей матери, бить уже здесь, в святых стенах, вести к воротам, бить в воротах, тащить через Киев, бить до смерти... Кто бы мог объяснить все это и как?

Почему в день убийства не заперты были, как всегда, монастырские ворота? Где был игумен Анания, когда убийцы врывались в монастырь и в церковь? Почему не встал перед толпой и не остановил наглецов словом божьим?

Но Дулеб молчал точно так же, как и игумен. Каждый из них ощущал свою силу, каждый был уверен в собственном превосходстве, но, вместе с тем, оба знали: этой смертью в Киеве они прочно связаны друг с другом. Поэтому приходилось принимать все то, что было, не пытаясь до поры до времени что-либо изменить.

Игумен уступил первым.

– Велю, чтобы коней накормили, – сказал он.

Но Дулеб ни в чем не хотел быть зависимым:

– Об этом позаботится Иваница.

А ночью случилось необъяснимое.

Имея в прихожей верного Иваницу, Дулеб спал крепко и спокойно. Снилось ему или не снилось, а среди ночи кто-то громко кричал: «Кузьма! Кузьма!» – Дулеба тоже звали

Кузьмой, хотя никто, собственно, и не знал его имени, для всех он был просто Дулеб или же лекарь. Но вот пришло к нему словно бы самое детство, возвратились далекие годы с берегов Днестра и, пробившись сквозь крепчайший сон, вызывали из каменного скита на вольную волю, вызывали голосом сильным, выкриком молодецким, и Дулеб никак не мог взять в толк – снится это или происходит наяву.

Наконец он проснулся и отчетливо услышал: «Кузьма!» Голос грубый и незнакомый. Ему должен был бы ответить Иваница, раз уж выкрики раздавались где-то у самой двери, но Иваница почему-то молчал, хотя спал всегда чутко, будто птица на ветке. А невидимый человек снова позвал: «Кузьма!» – и Дулеб не выдержал, вскочил с деревянного узкого ложа, подбежал к двери, коротко откликнулся: «Кто?» Спрашивал коротко не от страха, а из-за того, что не проснулся еще окончательно. У него не было времени прикоснуться рукой к топчанчику в передней (где же Иваница? Неужели спит так крепко?), поскорее толкнул дверь, хотел еще раз бросить в ночь свое резкое: «Кто?» но не успел, потому что в дверь с той стороны что-то ударило с силой страшной и короткой и словно бы вонзилось в доски таким острым и так глубоко, что Дулеб невольно почувствовал, будто это неведомо-острое вонзилось ему в грудь. Так оно, видно, и должно было быть, да только толстые дубовые двери стали его защитой. И снова не успел он даже испугаться, не прятался за дверью, а выскочил во двор и потянулся рукой туда, где

только что послышался удар.

В двери торчало длинное тяжелое копьё, вогнанное в дубовую доску чуть ли не на глубину всего наконечника.

– Кто здесь? – уже гневно и требовательно крикнул Дулеб.

– Кузьма? – спросил грубый мужской голос. – Подойди ближе, сын.

– Какой сын? Я Кузьма Дулеб. Княжий лекарь.

– Дулеб? – Тот еще не верил. – А мне сказали: тут Кузьма. Сын мой.

– Да кто ты, странный человеке? – нетерпеливо спрашивал Дулеб. Покажись, что ли. Чуть не убил меня, а теперь о каком-то сыне глаголешь. Где ты?

Он бесстрашно пошел в темноту, но не нашел никого.

Собственно, в таких случаях Дулеба должен был выручать Иваница, между ними существовало неписаное соглашение, но Иваница спал непробудно, не слышал ничего, и это встревожило Дулеба еще больше, чем невидимый человек с копьём. Такое случалось впервые. Иваница умел не спать именно тогда, когда ему нужно было не спать, Иваница всегда предупреждал опасность. Иваница всегда знал наперед, предчувствовал каким-то таинственным образом все, что скрыто было до поры до времени от всех остальных. А поскольку он всегда щедро делился своим знанием прежде всего с Дулебом, способность ясновидения приписывалась прежде всего Дулебу, потому что, как бы там ни было, Иваница являлся слугой княжьего лекаря, а прислужник – это

ведь не человек, в лучшем случае это – полчеловека.

Так считали все, кроме самого Дулеба. Для Дулеба Иваница был товарищем, верным помощником, а часто еще и спасителем.

– Иваница! – позвал Дулеб, возвращаясь в свое каменное прибежище, которое чуть было не стало последним. – Спишь, что ли?

Он подошел к ложу, на котором должен был спать его товарищ, осторожно ощупал темноту.

Иваницы не было.

Только теперь Дулеб вспомнил, что в передней келейке должна была гореть свеча. Свечи лежали возле ставника еще из Игоровых запасов, там их хватило бы на много ночей. Иваница должен был следить еще и за тем, чтобы не угасал свет, но вышло, вишь, так, что и свечка угасла и Иваницы нет.

Дулеб прошел в тот угол, где должен был быть ставник со свечой, долго водил во тьме рукой, не нашел ничего.

Иваницу же леший попутал. С ним бывало всякое, но такого – никогда еще. Откровенно говоря, мир полон тайн, но это не для Иваницы. Для него мир был открыт всегда и во всем. Тайной для мира мог быть разве лишь сам Иваница. Потому что он всегда все знал, а о нем никто ничего. Даже велемудрый лекарь Дулеб. Если бы у Дулеба спросили, откуда у него взялся Иваница, он не смог бы ответить. Потому что тот родился словно бы сам по себе, ниоткуда. Вот так.

Еще вчера его не было, а сегодня уже есть. Появился, и все. Беззаботный, здоровый, как рыба, ясные глаза, ясное лицо.

– Хворь имеешь? – спросил для приличия Дулеб, хотя твердо знал, что спрашивает лишь для приличия.

– А что такое хворь? – удивился Иваница.

– Зачем же ты пришел?

– Помогать тебе хочу.

– Смыслишь в лечении?

– А что такое лечение? – спросил Иваница.

– Ну, – Дулеб, быть может, впервые столкнулся с такой наивной простотой. – У людей время от времени непременно что-нибудь болит, я и помогаю тогда им своим умением. Это и есть лечение.

– Вот! – радостно промолвил Иваница. – Я и говорю.

Дулеб смотрел на него доброжелательно, поэтому Иваница решил сказать все до конца.

– Ты помогаешь людям? Я буду помогать тебе. Негоже ведь, чтобы такому человеку никто не помогал.

– Как же ты помогать будешь, ежели не смыслишь в лечении?

– Хворому что? – улыбнулся Иваница. – Хворому поможешь ты. А кто поможет здоровому? Свет широкий, все в нем есть. Вот там и понадобится тебе Иваница.

– Уже знаешь свет? – недоверчиво спросил Дулеб.

– А оно само узнается, – беззаботно взглянул на него Иваница.

Если же сказать откровенно, знания приходили к Иванице от женщин. Известно, что для женщин тайн не существует нигде, известно также, что женщинам всегда хочется поделиться тем сокровищем, которым они обладают, и вот тут оказывался нужным этой лучшей части человечества именно Иваница. Не следует считать, будто он подманивал женщин или, грешно даже подумать, применял к ним силу и принуждение. Они сами шли к нему, влекомые его добротой, его улыбочатой беззащитностью, его беспомощностью. Он не походил на тех задиристых, наглых, быстрых на все злое мужчин, которые слонялись по свету в одиночку или же целыми толпами, часто возглавляемые воеводами, а то и князьями, в нем было нечто детское, хотелось помогать такому славному парню, спасти его от вероятных жестокостей мира, а кто же мог сделать это лучше женщин? И они приходили к Иванице с новостями, предостережениями, тайнами, предположениями, а то и с пророчествами.

А уже Иваница от щедрости своей делился знаниями с Дулебом, каждый раз вызывая у того удивление, хотя казалось, не должен был бы удивляться этот человек, который еще издавека, лишь увидев кого-нибудь, мог точно сказать, здоров он или болен, и даже мог довольно точно определить недуг, которым страдал немощный. Так и получалось: один из них ведал обо всем, что происходит вокруг людей, а другой как бы заглядывал в их души, видел их нутро. Радостного в этом, наверное, было мало, но у каждого на земле есть свое при-

звание, их призвание было именно таким.

Следует отметить еще и то, что Иваница никогда не проявлял интереса к знаниям Дулеба, потому что считал людскую хворь недостойной своего внимания, зато щедро делился со своим старшим товарищем всем добытым, и не так, видимо, из осознания важности своих сведений, сколько от врожденной доброты.

Так оно получилось и в Чернигове, куда великий князь Изяслав посылал Дулеба не для выведываний, а только по лекарским делам.

За год до этого Изяслав захватил Киевский стол раньше своих стрьев Вячеслава и Юрия Мономаховичей, устранив Игоря Ольговича, который был князем киевским каких-нибудь две недели после смерти брата своего Всеволода Ольговича. С изгнанием Игоря наступил конец господству Ольговичей в Киеве, киевляне вельми радовались возвращению (не без их помощи) Мономаховичей; брат Игоря Святослав Ольгович ведал тоже весьма хорошо, что не вернуть уже для их рода Киевский стол, но боль за брата, которого Изяслав сначала посадил в поруб, а потом послал в монастырь, и стремление хоть как-нибудь донять Изяслава бросили Святослава в сообщники суздальского князя Юрия, сына Мономаха. Тот чувствовал себя тоже обиженным, потому что его племянник Изяслав, пренебрегая рядом старшинства, забыв и о старшем своем дяде Вячеславе, и о нем, могучем и вездесущем (за это и прозван он был Долгоруким) Юрии, за-

хватил стол Киевский, так, словно это было какое-то заброшенное ловище, или купеческий обоз, или красна девица, на которую, имеет право тот, кто первым доскочит.

Так и прошел год княжения Изяслава в Киеве в непрестанных стычках, походах, в напряжении, неприятностях и страхах. Но киевляне стояли за Изяслава твердо, и он сумел загнать своего врага Святослава Ольговича чуть ли не к его высокому покровителю Юрию Суздальскому. Да и не только это, а еще оторвал от Святослава его сообщников – черниговских князей Владимира и Изяслава Давыдовичей и Святослава Всеволодовича (племянника Святослава Ольговича). Дело дошло до того, что черниговские князья начали звать к себе Изяслава: «Брат наш! Занял Святослав Ольгович нашу волость во вятичах, давай пойдем на него. Когда же прогоним его, пойдем и на Дюргия в Суздаль и либо мир с ним сотворим, либо же биться будем».

Киевляне отступились от своего князя в этом деле. «Княже, – сказали они, – не ходи на стрыя своего, лучше уладь с ним дело. Ольговичам не верь и в путь с ними не отправляйся». Но не было единодушия среди несогласных. Изяслав видел это ясно. Поэтому уперся на своем: «Черниговские князья целовали мне крест, думу с ними думал, и уже не могу отложить этот поход. Кто же захочет со мной, догоняйте!» На что киевляне опять-таки сказали ему: «Княже, ты на нас не гневайся, мы не можем на Мономахово племя поднять руку». Как всегда бывает, одни говорили, другие молчали. Из

этих молчунов Изяслав набрал себе воинов и без промедления отправился в путь; чтобы пополнить свое войско, он пошел кружной дорогой на Альту, на Нежатин, на Роситину. Там встретил его гонец из Чернигова от Изяслава Давыдовича. Давыдович передавал, что вряд ли дождется Изяслава с полками, ибо немощен сердцем.

– Все Изяславы немощны сердцем, – рассмеялся киевский князь и послал вперед себя Дулеба, чтобы тот помог черниговскому Изяславу, хотя все эти месяцы, пока Дулеб был при нем, князь не очень охотно отпускал его от себя, поскольку и сам часто болел сердцем, страдал от колик в животе.

Там и отличился Иваница так, что Дулеб из обычного княжьего лекаря сразу вырос в довереннейшее лицо.

Пока Дулеб втирал Давыдовичу в мохнатую грудь у сердца травяные настои, Иваница, по своему обыкновению, где-нибудь лениво прогуливался или же просто лежал в тени, а возможно, и на Десну купаться ходил, хотя черниговцы в такое время, кажется, уже и не купались, считая воду слишком холодной после того, как погасли над нею купальские огни. Как бы там ни было, поздней ночью Иваница растолкал сонного Дулеба и чуточку испуганно, что с ним случалось крайне редко, сказал: «Князя нашего заманивают в Чернигов, чтобы убить». – «Какого князя?» – не понял спросонья Дулеб. «Ну, нашего, Изяслава». Дулеб никак не мог проснуться окончательно. «Изяслава Давыдовича?» – спросил он. «Да нет, нашего, киевского. Эти, в Чернигове, целовали крест Свято-

славу Ольговичу, что убьют Изяслава, взяв его коварством и хитростью. Все и целовали: оба Давыдовича и Святослав Всеволодович, потому как это родной племянник Святослава». Объяснение Иваницы было столь исчерпывающим, что переспрашивать не годилось. Дулеб лишь полюбопытствовал: «Откуда ведаешь сие?» – хотя хорошо знал, что Иваница этого не скажет, как не говорил никогда.

На рассвете они выехали из Чернигова, прискакали к Изяславу, и тут Дулеб передал князю то, что услышал от Иваницы. Изяслав не поверил, да и кто бы поверил! Спросил у Дулеба, как он узнал, но тот ничего сказать не мог, – не ссылаться же на Иваницу: Иваница для князя – ничто, а для Дулеба – все.

– Вот знаю, да и все, а ты, княже, думай, – сказал Дулеб.

Изяслав тотчас же послал к черниговским князьям воеводу с вопросом, не замыслили ли они чего-нибудь недоброго. Те ответили уклончиво. Тогда еще один посол поехал в Чернигов и уже прямо сказал князьям в глаза об их измене. И еще спросил посол от имени князя Изяслава: так это или не так? Те долго переглядывались между собой, потом велели послу выйти; посоветовавшись, снова позвали его и велели передать Изяславу следующее: «Брат, целовали крест Святославу Ольговичу, ибо жаль нам, что держишь брата нашего Игоря, хотя он уже не князь, а монах и схимник. Отпусти брата нашего, тогда с тобой пойдем. Разве любо тебе было бы, если б твоего брата держали?»

Тогда отослал им Изяслав крестные их грамоты, объявляя этим войну, а на подмогу себе позвал брата Ростислава из Смоленска и брата Владимира с киевлянами.

Вот тогда и стряслось неожиданное. Киевляне, услышав от Изяславова посла об измене черниговских князей, в приливе дикой ярости бросились в монастырь святого Феодора, вытащили оттуда князя Игоря и убили его.

Когда Изяслав услышал об убийстве, заплакал и сказал дружине: «Теперь как мне спастись от людского наговора? Будут говорить, что это я убил Игоря, а бог свидетель, что я ни сам не убивал, ни наущал убивать». Дружина успокоила князя: «Бог, княже, и все люди ведают, что не ты убил Игоря, а его братья. Разве же не целовали они тебе крест, а потом хотели тебя тоже убить?»

Но дружина на то и есть, чтобы поддерживать и утешать своего князя. А люди? Что они скажут? Если и не скажут – подумают. Как ни бодрись, а тень от убийства Игоря падала на Изяслава, он понял это сразу и возжелал отворотить от себя все подозрения. А как ты их отворишь? Единственный путь – установить, кто убил, как это произошло, кто скрывался за спинами убийц.

– Начал ты сие дело тяжкое, ты же и заканчивай. Поезжай тайком в Киев и узнай про убийство Игоря. Лишь для меня, ни для кого больше. Дам тебе гривну княжескую и печать. Лазарю, тысяцкому, напишу... Ежели ты не сделаешь этого, никто мне не поможет...

Князь не спрашивал согласия – посылал, и все. Князья всегда так поступают. Правда, Дулеб попытался было напомнить Изяславу о своем лекарстве, однако князь забыл про болезни: хлопоты душевные донимали его намного сильнее, он не стал зря тратить слов, махнул рукой.

– Встряли мы в темное дело, Иваница, – сказал Дулеб, когда они уже ехали в Киев.

– А, выпутаемся, – беззаботно улыбнулся Иваница.

– Думаешь, легко нам будет?

– А так, как всегда.

Дулеб любил Иваницу за уверенность во всем. Иванице же Дулеб нравился тем, что никогда не приставал с назойливыми расспросами. Мог удивиться, когда что-нибудь узнавал от Иваницы, но не больше. Зато никогда не приставал с ножом к горлу: откуда, да как, да почему, да за какие деньги узнал?

Ну, так вот, въехали они в Киев под вечер, сразу укрылись в монастыре, никто толком и не знал об их приезде. Если какая-нибудь киевская молодичка и увидела Иваницу и польстилась на его улыбку, то, хоть убей, не могла она за такое короткое время допытаться, где, в каком дворе, за какими воротами укрылся на ночлег этот молодец. Стало быть, по всему можно было судить, что по крайней мере первую ночь Иваница проспал в Киеве свободно, не потревоженный теми, которые сладко тревожили его всюду.

Но вот среди ночи явилось видение. Коснулось его плеча,

положило себе пальчик на уста, призывая молчать, кивнуло, чтобы шел следом, и повело из кельи через монастырский двор, мимо церкви к глухой стене, где росли высокие деревья. В белой сорочке, с белыми волосами, белолицее, белорукое, несло свечу, прикрывая слабый огонек маленькой ладошкой, и ладошка светилась не розовым, как у всех людей, а тоже словно бы белым.

Наваждение, да и только.

Возле стены оно вознеслось вверх, странным образом как-то зацепилось за темную ветку, не выпуская свечи, перепорхнуло через стену, позвало Иваницу уже оттуда голосом таким нежным, что у него даже сердце замерло:

– Иди за мной.

Он прыгнул тяжело раз и еще раз, пока ухватился за ветку, долго карабкался через стену, прыгнул в темноту на противоположную сторону, встал, оглянулся вокруг. Нигде никого.

– Эй! – тихонько позвал Иваница. – Где ты?

Никто не откликнулся.

Он пометался около стены, торопливо прошелся по улице, потом по другой. Никого. Наваждение!

Должен был бы перекреститься, но только сплюнул. Перелез через стену, медленно начал пробираться к каменному скиту, все еще не теряя надежды, что снова появится эта неправдоподобно белая девчушка с голосом, от которого замирает сердце.

Не появилась.

Возле скита его ждал Дулеб.

– Где ты был?

– Да... нигде.

– Гонялся за кем-нибудь?

– За кем бы мне гоняться?

– А вот.

Дулеб взял его за руку и дал пощупать загнанное в дверь копые.

– Вот уж! – воскликнул Иваница.

Всегда нужно иметь свидетелей. Когда не имеешь – позови. Но на такое дело ни один из них не мог позвать никого. Не умели даже сказать друг другу, что же такое с ними случилось. Запутанное было дело и темное. Дулеб почувствовал враждебность, нависшую над ними в Киеве, как только въехали они в ворота великого города. Иваница же, по своему обыкновению, лишь удивился этому происшествию. Когда же Дулеб осторожно высказал опасения относительно успеха их тайного посольства, младший его побратим беззаботно произнес свое излюбленное, исчерпывающее: «Вот уж!»

Была пятница, как и в тот день, когда убили Игоря. Хотя сентябрь шел на спад, солнце жгло немилосердно, будто навеки утратило свою ласковость. Правда, замечено было, что и в Киеве солнце ярится подчас, и ярость солнца приходится на август, начиная с первых его дней. В августе умер Всеволод, передав стол брату своему Игорю. В том же самом авгу-

сте прогнал из Киева неудачника Игоря проворный Изяслав, опередив всех Мономаховичей, в этом году в августе отправился Изяслав на соединение с черниговскими князьями, а получилось из этого то, ради чего Дулеб должен теперь сидеть с Иваницей в Киеве и доискиваться причин ярости уже и не солнца, а людской. Что, как известно, никогда не было делом простым и легким.

Дулеб встревожен был не столько непонятным ночным происшествием и не столько откровенной неприязнью игумена Анании которую почувствовал с первой встречи, сколько тем, что дали им уже первые дни расспросов. Никто в Киеве, казалось, не скрывал того, что случилось, все охотно выкладывали все до малейших подробностей о смерти Игоря, рассказывали так складно и умело, будто кто-то заранее, еще при живом Игоре, сложил легенду о его убийстве, из которой можно было узнать о чем угодно, кроме главного: кто виновник!

Виновных не было... Кто первым крикнул о смерти князя, кто бежал к монастырю, кто бил Игоря, кто убивал? Об этом не было речи. Будто бы кричал весь Киев, будто в монастырь бежали все киевляне и князя убивали тоже все.

Дулеб, не имея опыта в таком тяжком и запутанном деле, вознамерился для начала записать все известное.

Достал из переметных сум пергамен и приспособления для письма, сел в своем каменном убежище и, отпустив Иваницу на вольную волю в надежде, что тому все-таки откроет-

ся что-то, до поры до времени скрытое от общего внимания, попытался расставить события в том порядке, как должны они были произойти неделю назад, в пятницу девятнадцатого сентября, лета от сотворения мира шесть тысяч шестьсот пятьдесят пятого: две шестерки и две пятерки, совпадение чисел, видимо, весьма нежелательное и зловещее, как показали события¹.

Писал, сам не зная зачем: то ли себе на память, то ли для того, чтобы преподнести сей пергамен князю Изяславу, ибо виновных должен искать тот, кто может карать.

Дулэб писал: «По всему видно, что август для Киева месяц вельми угрожающий, из-за чего следует всегда быть осмотрительным, намереваясь начинать важные дела именно в этом месяце».

Развивать эту мысль вряд ли и нужно было, ибо и так здесь чувствовался намек на то, что, быть может, и Изяславу в прошлом году в августе не следовало захватывать Киевский стол, пренебрегать правом старших Мономаховичей – Вячеслава и Юрия.

Дулэб писал об августе нынешнего года, о походе Изяслава, о том, что с ним самим случилось в Чернигове и об измене тамошних князей, и о том, как был встревожен Изяслав и как решил немедленно послать в Киев послов, чтобы они

¹ Имеется в виду принятая в те времена система летосчисления «от сотворения мира», которое, мол, наступило за 5508 лет до рождения Христа. Значит, каждый раз, чтобы узнать, о каком годе идет речь, нужно отнять от названного числа 5508.

обо всем рассказали киевлянам.

Послы великого князя Изяслава, дружинники Добринко и Радило, прибыли в Киев на Мстиславов двор и передали шестнадцатилетнему князю Владимиру, жившему там на отцовском дворе с матерью, слова старшего брата: «Брат мой, поезжай к митрополиту, созови киевлян, и пускай эти мужи расскажут про измену черниговских князей».

Владимир, дабы не мешкать, велел своему тысяцкому Рагуйле и главному киевскому тысяцкому Лазарю Саковскому собирать киевлян к Софии, а сам сел на коня и поехал к митрополиту Клименту Смолятичу.

Еще никто ничего и не знал толком, а уже какой-то слух просочился между людьми, поэтому собралось у Софии огромное множество киевлян, сбились в такой давке, что ни увидеть, ни услышать, ни дохнуть даже, и вот тут кто-то смысленный крикнул передним: «А ну-ка сядьте!» – и уже затем сели и стоявшие за ними, чтобы всем быть на одинаковом расстоянии от неба, так что на ногах остались только митрополит, да князь молодой, да тысяцкие, да посланцы великого князя Изяслава, да дружина конная числом до ста, а то и больше.

Когда же слышали киевляне о том, как плели сеть князя черниговские, чтобы поймать в нее Изяслава, то мигом вскочили на ноги все до единого и поднялся такой крик, что казалось, даже София всколыхнулась, и уже ни Добринко, ни Радило не могли перекричать киевлян, даже митрополит

долго не мог унять толпу. Крик все усиливался, но, как всегда бывает при таком большом скоплении людей, слов никто не мог понять, да никто и не заботился о том, чтобы его слова были услышаны, каждый был занят прежде всего тем, чтобы выразить свое возмущение, потому что после этого у человека как-то отлегает от сердца.

Все же Добринко улучил миг тишины и сумел протолкнуть в этот короткий миг молчания слезный призыв великого князя Изяслава, который знал, что лучше всего можно взять за душу слезой и лестью:

«О излюбленные мои киевляне! Доспевайте, кто на конях, кто по воде в лодьях на врагов моих и ваших: ибо не меня одного хотели убить эти недруги, но и вас искоренить!»

Слова посланца Изяслава о том, что великий князь призывает киевлян хоть теперь пойти дружно с ним, уже не против Святослава Ольговича, а супротив всего рода Ольговичей и Давыдовичей, киевляне восприняли как бы спокойно, уже по обычаю они должны были бы умолкнуть на какое-то время, чтобы обдумать все как следует, потому что важные дела всегда требуют обдумывания, но на площади возле Софии царило такое невероятное столпотворение, что мутилось в головах даже у самых рассудительных людей, а тут еще прозвучал чей-то задиристый голос. Голос был грубый и довольно громкий, и его слышали все.

Дулэб писал: «Люд, собранный в количестве чрезмерном, неукротим, как море, рокошующее прибоем даже в величай-

шей тишине».

Он как бы сам присутствовал там, на площади возле Софии, в той тесноте его самого как бы бросало туда и сюда могучим прибоем толпы, и он был не властен над собой, потому что овладела им толпа.

Дулэб писал: «Что есть толпа? Это тихая гладь глубоководья, которая от малейшего дуновения ветра приходит в движение во всей своей толще. Это огонь, скрытый до поры до времени, готовый взорваться пламенем от тончайшей сухой лучины».

Для киевского люда сухой лучиной стал этот грубый голос неизвестного человека. Человек прогремел над всей толпой:

– Князь призывает нас в Чернигов, а про то и забыл, что тут самый лютей враг сидит и князя нашего и наш – Игорь Ольгович! Убить его, а уже потом – биться за своего князя.

Слова были такими неожиданными, что все оцепенели вдруг, лишь митрополит, как муж опытнейший, мгновенно поднял руку, как бы угрожая, и изрек осуждающе:

– Греховны слова и помысел греховный!

Но этим он лишь придал силу скрытому огню, разбудил злую страсть в темных душах, которых нашлось немало. То с одного, то с другого конца раздались возгласы:

– Жаждем убить Ольговича!

– Жаждем!

– Убить врага сего, а уж потом!

Выкрики охватили площадь – так неумолимый враг ста-

рается поджечь с четырех сторон город, которым жаждет завладеть.

Князь Владимир юношеским голосом своим перекрыл темных крикунов, над площадью разнесся его призыв:

– Мой брат не повелевал убийства! Игоря поблюдет стража, а мы пойдем к брату, как он велит.

– Мы пойдем, а сей выйдет и возвеличится над Киевом! – спокойно молвил тот же самый грубый голос, который первым бросил в толпу слова поощрения к убийству.

– Ведаем, что брат твой не велел сие творить, – закричали Владимиру со всех сторон. – А мы вот хотим убить Игоря! Хотим!

– Ибо не удастся покончить добром с сим племенем ни вам, ни нам!

– Опомнитесь! – поднял вверх крест митрополит.

– Не смейте! – в один голос крикнули тысяцкие Лазарь и Рагуйло.

– Не чините зла! Сотворив это, гнев божий на себя накличете, вражда с братьями его и с племенем его вовеки не уймется! – то ли повелевал, то ли просил митрополит Климент. И был это не грек, как заведено было издавна, еще со времен великого князя Владимира, – князь Изяслав, вопреки настояниям ромейского патриарха, возвел в митрополиты своего, русского, монаха Зарубинецкого монастыря многоученого Клина Смолятича. И киевлянам приличествовало бы прислушаться к голосу своего, родного, а не привезенно-

го из-за моря архипастыря душ и сердец. Но не случилось этого.

Дулеб писал: «Уж когда толпа загорится страстью, пускай и пагубной, то не подвластной она становится ни уговорам, ни повелениям, а на каждое рассудительное слово родит десяток слов собственных, и чем бессмысленнее и яростнее они будут, тем убедительнее будут казаться для помутившихся душ и ослепленных сердец».

Так и тут быстро нашелся среди киевлян какой-то то ли вельми старый человек, то ли просто дошлый знаток деяний киевских, ибо сразу же и ответил митрополиту, а голос прозвучал так, что сразу не поймешь, откуда он прозвучал:

– Величайшее зло – верить заточенным! Разве же не было в Киеве, когда изгнали Изяслава Ярославича за неправды восемьдесят лет назад? Вызволили тогда из поруба Всеслава Полоцкого, поставили над собой князем, а он испугался Изяслава и бросил киевлян на произвол судьбы! Когда вернулся Изяслав, семьдесят мужей, выпускавших Всеслава, были изрублены, а иные ослеплены, а еще многие безвинно погублены, без разбора.

– Вот так и Ольгович, как Всеслав! – раздался визгливый голос в одном конце.

– Нельзя оставлять врага в городе многолюдном!

– Надобно спастись от Ольговича! – откликнулось в другом конце.

– Пойти, да убить!

– Убить!

– Убить!

И так, перекликаясь и подталкивая друг друга, киевляне распаялись все сильнее, гигантская толпа раскачивалась все яростнее и угрожающе, а там не уместилась на площади возле Софии, выплеснулась дальше и, разъяренная, бросилась к Владимирову городу, где в монастыре святого Феодора был князь Игорь.

Дулєб писал: «Когда всадник не натянет своевременно поводья у своего коня, то куда занесет его конь? А еще когда конь взбешенный...»

Ни митрополит, ни тысяцкие, ни посланцы великого князя Изяслава, несмотря на то что были возле Софии с прислужниками и дружиной конной, как-то не сумели противодействовать злу. Все они продолжали стоять, верно, растерянные и напуганные яростью киевлян; дружина, которая могла бы легко преградить путь разъяренным людям, тоже не двигалась с места, не получив соответствующего повеления. Должен был бы спохватиться митрополит Климент, и хотя бы вослед толпе изречь тяжкую анафему, и, быть может, этим высоким иерейским проклятием остановить если не всех, то, во всяком случае, многих, разобщить люд, разделить на овец и козлищ, на послушных и непокорных, которые сразу бы потеряли половину силы, а значит, и решительности. Но и митрополит молчал, то ли не отваживаясь до поры до времени бросать анафему на люд, над которым он

только что получил священную власть, то ли боясь, что его грозное проклятье все равно не поможет и тем самым будет поколеблена вера в силу божьего слова.

Только юный князь Владимир бросался то к тысяцким, то к митрополиту, то к дружине, но ему мешала неопытность, он не сумел изречь решительное слово, которое могло бы предотвратить преступление; единственное, что он смог, – быстро вскочил на коня и один помчался наперехват толпе, но не успел проехать к городу Владимирову по узкому мосту, до отказа запруженному людом. Тогда он рванул вправо мимо Глебова двора, но и тут киевляне опередили его, и, пока он добрался к монастырю с другой стороны, убийцы уже ворвались туда и рыскали по всем уголкам в поисках князя Игоря.

А Игорь, от природы не наделенный способностью к предчувствиям, стоял на обедне в монастырской церкви, молился перед иконой божьей матери. Налетчиков не остановили ни святость места, ни углубленность князя-схимника в молитву. Они схватили Игоря, сорвали с него мантию и схиму и, вслепую ударяя куда и чем попало, потащили из монастыря. У ворот появился князь Владимир, который только что примчался туда кружным путем. Увидев его, Игорь заплакал: «Ох, брате, камо?» Тогда Владимир спрыгнул с коня, накрыл Игоря своим княжеским корзном, крикнул киевлянам: «Братья мои, не сотворите зла, не убивайте Игоря!» – и повел его к Мстиславу двору.

Дулеб писал: «Одного лишь корзна княжеского было достаточно для того, чтобы отступились даже те из киевлян, которые были ослеплены собственной яростью и беззащитностью своей жертвы. А что, если бы прикрыли Игоря не корзном княжеским, а дружиной конной?»

Владимир успел довести Игоря до ворот Мстиславова двора, но тут преследователи спохватились, а может быть, это набежали какие-то новые, они догнали беглецов и с молчаливой жестокостью начали вырывать из рук Владимира избитого до крови Игоря, били Игоря, били заодно и Владимира, а когда появился здесь младший брат Владимира Михалко, верхом на коне, и, соскочив на землю, попытался было защитить князей, били также и Михалка, сорвали с него крест и чепы, весом в целую гривну золота, свалили на землю, топтали так, словно бы речь шла здесь не о мести над Игорем и Ольговичами, а над всеми князьями, малыми и великими, из всех родов, известных и неизвестных, нелюбимых и почитаемых, – все равно. Владимир снова воспользовался заварухой и, не веря, чтобы озверелая толпа мстила еще и маленькому князю, не стал защищать Михалка, а молча протолкнул Игоря во двор к матери, закрыл ворота перед самым носом у разъяренных убийц и поскорее спрятал еле живого князя в кожуховых сенях.

Дулеб писал: «Княжеский дом оказался запертым всеми своими дверями даже для того князя, который там жил, кто же запер эти двери и когда и зачем? Вот бы знать».

Кожуховые сени были вознесены чуточку над землей, однако они были открыты всем взглядам снизу, не представляли никакого убежища, и перепуганный Игорь напрасно метался от окошка к окошку и торопливо и часто крестился на все четыре стороны света.

Те, что были за воротами, ворвались в княжий двор, тотчас увидели Игоря, выбили дверь в кожиховых сенях, стащили князя вниз и тут, в конце ступенек, добились его и за ноги потащили через Бабий Торжок к Десятинной богородице, словно бы намереваясь бросить труп перед этой великой святыней. Кому казалось, что Игорь еще жив, тот продолжал бить князя, так что, если он и в самом деле сохранял еще в теле какие-то признаки жизни, растерял их на Бабьем Торжке уже навеки. На пути толпы попался какой-то воз, запряженный дохлой клячей, и тогда убийцы изменили свое намерение, бросили труп на телегу, вскочили на нее сами и велели хозяину везти их со страшной поклажей на Подол. Там на торговище сбросили труп князя в грязь и исчезли бесследно, словно их и не было никогда, словно это и не киевляне учинили зло, а какая-то насланная неведомая сила. И хотя не видели, чтобы кто-нибудь подходил к убитому, вскоре тот оказался нагим, как при рождении на свет, и говорили, будто это тайком приходили благоверные и отрывали от одежды убитого по кусочку во спасение и исцеление, пока вовсе не обнажили труп.

Дулэб писал: «От мученичества всегда ждут чудес, но за-

бывают люди, что бог не страдает никогда, он только радуется или гневается, так почему же человек не стремится сравняться с богом в радостях, а непременно в гнев!»

Кое-кто, правда, утверждал, что Игорь и не нагим вовсе лежал на торговище, ибо нашлись добросердечные старушки и прикрыли убитого, хотя и не отважились обмыть кровь на его ранах.

Лишь после того, как свершилось неотвратимое, нашел князь Владимир обоих тысяцких, Лазаря и Рагуйла, и послал их на Подол с дружиной, чтобы они защитили там хотя бы мертвого, если уж не сумели убереечь живого.

Тысяцкие сказали киевлянам:

– Вы убили Игоря, а мы похороним его.

На что киевляне ответили:

– Не мы его убили, а убили его два Давыдовича и Всеволодович, когда они замыслили зло супротив нашего князя и хотели убить его изменой. Но бог за нашего князя и святая София.

И велел тысяцкий Лазарь взять Игоря и отнести в церковь святого Михайла, в Новгородскую божницу, там тысяцкие положили убитого в гроб и прикрыли корзном князя Владимира.

Назавтра утром, в субботу то есть, митрополит послал игумена Ананию отпеть, по обычаю, надлежащие молитвы над убиенным. Игумен увидел, что Игорь не убран по монашьему чину, велел обрядить его и, отпев, отвез в церковь

святого Симеона, где и похоронили князя. Над мертвым князем игумен Анания произнес гневливо-болезненное слово.

Дулеб писал: «Невыясненным остается, кто первый крикнул возле Софии об убийстве и кто первый побежал, кто первый ударил князя, а кто последний. Виновных нет, никто их не искал с первой минуты и с первого дня, а теперь никто и знать не может».

Так бессмысленно и беспричинно погиб в Киеве потомок Рюрика в восьмом колене, правнук Ярослава Мудрого, Игорь, в крещении Георгий, сын Олега Святославовича и княжны половецкой, в крещении Феофании.

Дулеб писал: «Чем мог так опротиветь киевлянам Игорь, который княжил в Киеве всего лишь двенадцать дней, на тринадцатый день уже бежал от Изяслава и, брошенный дружиной, позорно застрял в Дорогожицком болоте и просидел там четыре дня, голодный и измученный?»

Пришел Иваница, и Дулеб отложил перо.

Иваница сообщил:

– Бежал привратник из нашего монастыря.

– Когда? – спросил Дулеб.

– А тогда же и бежал.

Дулеб не понял.

– Когда – тогда?

– Ну, когда убили князя.

– А этот?

– Тот, что отворяет нам? Это новый. Игумен Анания сразу

же поставил его. А тот бежал. И никто не знает куда.

Первый виновник. Можно сразу вписать в пергамен. Знать бы только имя.

– Звался как?

– Сильвестр. Или Силька – по-простому. Учен вельми. Послушником у самого игумена был. Потом вел записи монастырские. К воротам приставлен в августе.

Август. Опять август в Киеве. Даже в каменную тихую обитель врывается он со своей яростью. Дулеб прикрыл глаза веками, немного посидел так, потом придвинул к себе пергамен. Написал: «Первое имя виновника Сильвестр, монастырский привратник. Виновен, потому что бежал. Или же станут ведомы еще и другие имена?»

Иваница не уходил. Он смотрел, как Дулеб записывает на пергамен, спокойно улыбался.

– Про Игоря что говорят в Киеве? – спросил Дулеб.

– А ничего. Про смерть – и все.

Виновных не было. Привратник не идет в счет. Он только открывал ворота. А кого впускал?! Теперь не найдешь. Великий город строго хранит тайну, не выдаст ее никогда никому. А обвинить весь город? Для этого он должен бы быть намного меньшим и не Киевом. Потому что Киев не подожжешь с четырех концов, и людей не выгонишь за городские валы, и виры с Киева не возьмешь.

– Не за свое дело взялся, – вслух подумал Дулеб. – Надобно возвращаться к князю Изяславу.

– А смерть в Киеве? – малость обиженно спросил Иваница.

– Узнали обо всем, больше не можем.

– Вот уж! Если есть о чем узнавать, человек узнает непременно. Как хворость невозможно скрыть от лекаря, если она есть в теле, так и тут. Побывать нам надобно в Киеве.

– Хорошо тебе в Киеве?

– Вот уж!

Во дворе заржали кони, зазвенела сбруя, незваные всадники внезапно окружили скит, Дулеб с Иваницей не успели ни удивиться, ни возмутиться, а в келейку уже протиснулось несколько бородатых, мрачного вида мужчин, неся с собой конский дух, запах ремней и суеты людской. Передний без ласковости и почтительности в голосе спросил:

– Дулеб кто?

– Я, – сказал Дулеб.

– Поедешь с нами.

– Куда и почто?

– К боярину Войтишичу.

– Я княжий лекарь, – напомнил Дулеб.

– Князей великое множество – Войтишич один.

– Я тоже один. Зовусь Дулеб. Лекарь приближенный великого князя Изяслава. Слыхали?

Бородач был малость обескуражен спокойствием Дулеба.

– Просит тебя воевода и боярин Иван Войтишич, – уже иначе повел он речь.

– Так и надобно говорить. Ежели просит, я еще подумаю.

А для этого все отсюда выйдите. Ибо я хочу здесь остаться.

– Велено без тебя не возвращаться.

– Вот и не возвращайтесь.

Иваница начал выталкивать из келейки немых бородачей, и они выходили, придерживая широкие мечи, бросая по сторонам угрожающие взгляды.

– Вот уж! – воскликнул Иваница, запирая за ними тяжелые дубовые двери.

– Так как? – спросил Дулеб. – Поедем к Войтишичу?

– А почто он нам?

– Когда старый человек просит лекаря, что должен делать лекарь?

– А откуда этот старый вызнал про тебя?

– Не знаю. Не думалось об этом.

– Зато я знаю. Игумен сказал ему. Они родичи. Войтишич женат на сестре игумена. Бездетна, как и сам игумен. Весь род их бесплоден. Как сухое дерево.

– От людей не зависят такие вещи, – сказал Дулеб. – А про игумена и молвить не следует, раз мы у него в гостях.

– Спросили бы вы игумена о том привратнике.

– Грех. Святые отцы вне всяких подозрений. Да еще игумен княжьего монастыря.

– Убит тоже человек не простой, а князь.

– Но ведь не людьми Изяслава. А игумен Анания – Изяславов человек, как и мы с тобой.

– Кто убил, того и найдем. Будь это даже сам бог святой. Игумен же, ежели хочешь правду, вельми не любит тебя, Дулеб.

– А тебя?

– И меня тоже. Потому и Войтишича надоумил, чтобы тот нас заманил к себе. Так никто про нас не ведал – теперь будет знать весь Киев. Потому что у Войтишича на дворе пол-Киева толчется каждодневно. Боярин и за трапезу не садится, пока не соберет душ пятнадцать.

– Откуда ведомо тебе?

– Так. Слышал. В особенности же любит, чтобы были люди пришлые, из дальних стран, послы, гости.

– Любопытен к миру?

– Как знать. Один сам светом интересуется, другой – из шкуры лезет вон, чтобы свет о нем услышал. Войтишич, может, хочет, чтобы не забывалось его имя. При многих князьях был воеводой, тысяцким. Был в Киеве когда-то Ян Вишатиц. Прожил чуть ли не сто лет, пережил князей в восьми коленах, был в походах со Святославом, Владимиром, Ярославом, с сыновьями и внуками Ярослава. Уже и на коня сам не мог взбираться, – его подсаживали, привязывали к седлу, и так он шел впереди дружины. Сорок лет назад умер, но и до сих пор в Киеве вспоминают о нем. Может, Войтишич тоже печется о такой славе.

– Уговорил ты меня, Иваница. Теперь вижу: надобно ехать к Войтишичу.

– Вот уж! Разве я уговаривал?

– Так вышло.

Они никогда не спорили. Нужно, – стало быть, нужно.

– А как отправимся? – спросил Иваница. – На конях или пешком?

– Раз мы посланцы князя, приличествует верхом, – ответил Дулеб, складывая свои приспособления для письма и сворачивая пергамен, в который уже вряд ли и надеялся записать что-либо новое. – А тем скажи, пускай убираются. Поедем без них. Ты ведь знаешь, где двор Войтишича?

– Вот уж! – улыбнулся Иваница и пошел прогонять Войтишичевых задиры и готовить коней.

Теперь повествование переходит на Войтишича.

Войтишич вышел встретить гостя за ворота своего двора. Раскрыливал объятия еще издали, разливал улыбку по широченной, когда-то, видимо, золотистой, а теперь серо-желтоватой от седины взерошенной бороде, голосом, срывающимся то ли на пение, то ли на крик, запричитал:

– Дорогой ты мой!

По ту сторону ворот стоял чисто вымытый игумен Анания, в новенькой черной рясе, весь в сиянии золота и самоцветов, а позади него во дворе толпились немытые задиры, пытавшиеся силком приволочь Дулеба сюда, пренебрегая его высоким званием княжеского посла с чрезвычайными полномочиями. Если бы не посольское звание, Дулеб, увидев игумена и этих немытых бородачей, спокойно повер-

нул бы коня и проехал бы мимо Войтишича, словно мимо столба или сухого дерева, но положение обязывало к вежливости, поэтому Дулеб соскочил с коня, то же самое сделал и Иваница, надлежало пешими вступать во двор, раз хозяин вышел встречать их на улицу; оба они, ведя коней в поводу, приблизились к Войтишичу, и тут боярин наконец смог сомкнуть свои объятия, – будто самого родного человека, обнял Дулеба, напевая ему в самые уши:

– Дорогой ты мой!

– Нас двое, – напомнил Дулеб. – Со мной товарищ мой, Иваница.

– Дорогие вы мои! – не растерялся Войтишич и раскрыл объятия для Иваницы. Наверное, как привык смолоду обнимать женщин, уже никак не мог остановиться и обнимал теперь также и мужчин, но, как все, лишнее прямого назначения, объятия эти поражали своей неестественностью. Однако Войтишич ни капельки не был смущен своим притворством, он изо всех сил прикидывался гостеприимным хозяином, готов был обнять не только Дулеба и Иваницу, но даже и их коней.

– Дорогой мой, – снова обратился он к Дулебу, кивая своим замурзанным бородачам, чтобы забрали у гостей коней, – как только дошел до меня слух, что лекарь князя Изяслава, вельми славный повсюду Дулеб, в Киеве, вознамерился я выкрасть тебя, вот так взять и украсть, будь оно проклято все! Что ты посол княжий, меня это вовсе не касается, потому

как давно уже отошел от дел державных, своих хлопот хоть отбавляй, будь они прокляты. Однако же иметь под боком такого славного лекаря и не пригласить его! Нет, нет! Тут уж хоть не ради меня, а ради моего родича игумена Анания – вы ведь знакомы. А посмотри, как высушен мой игумен! Ни выпить, ни съесть утроба не принимает.

– Бог не велит объедаться, опиваться, – стиснув губы, Анания сухо кивнул Дулебу.

– Никогда бог не воспрещал человеку выпить и закусить, будь оно проклято! – захохотал Войтишич, обнимая теперь еще и игумена, подталкивая всех своих гостей к высокому каменному терему, который был бы, возможно, и вельми привлекательным, если бы не слишком узенькие окошки на обоих этажах, собственно, и не окошки, а щели – только из лука выстрелить во врага.

– Не обременяй себя, сам пойду, – уклонился от загребущей руки Войтишича игумен и пошел впереди, подергивая при каждом шаге головой.

– Игумен, мой родич, не переносит проклятий, – весело объяснил боярин. – А что такое проклятия? Это когда призываешь в свидетели дух в подтверждение искренности своих слов. Игумен не ведает, что значит быть воеводой. Я же ведаю, даже слишком. Когда воевода просит дружину: «Да благословит вас бог выстоять в бою», – она побежит от врага при первой же стреле супротивника. Когда же скажешь: «Да будет проклят каждый, кто дрогнет!» – тогда выстоит в

самой кровавой схватке.

– Игумен прав, – заметил Дулеб. – Навряд ли следует ныне употреблять проклятия даже для присказки. Ведь на Киев и без того упало проклятие и свершилось...

– Свершилось? – Войтишич вводил своих гостей в огромную палату, где, освещенный толстыми свечами, сверкал драгоценной посудой пышно убранный стол. – А что свершилось в Киеве? Вот здесь и здесь садитесь, мои дорогие, ты, игумен, садись на своем месте. Все, что может быть достойно внимания, должно происходить здесь, за столом, с моими дорогими гостями, а в Киеве... в Киеве уже давно ничего не свершается. Когда-то было. Да только быльем поросло. Легко могу вспомнить множество славных событий, хотя и отдаленных на целые десятки лет, будь оно проклято! Но нынче не свершается ничего.

– Свершилось убийство, – сказал Дулеб. – Ужели не слышал, воевода? Убит князь Игорь.

– Убийство? – удивился Войтишич. – Какое убийство? Впервые слышу. Игумен, правда ли сие?

– Правда, – сказал Анания. – Великий грех содеяли киевляне.

– Будь оно все проклято, – замахал руками Войтишич, – я старый человек и ничего не хочу знать!

– Великий князь послал меня распутать темное дело убийства Игоря, промолвил Дулеб.

– Распуташь, распуташь, дорогой, хотя лекарю годилось

бы печься о живых, а не о мертвых. Покойников пускай отправляет на тот свет наш игумен. А мне на старости лет лучше бы уж и не слышать о смерти, будь она проклята! Потому как, по правде говоря, множество смертей видел на своем веку я. Скажи, игумен!

Игумен молча склонил голову.

В этом наклоне головы следовало бы прочесть почтение к прошлым заслугам Войтишича, однако Дулеб был далек от подобных чувств, перед глазами у него возникла вдруг вся темная, отважная, часто преступная жизнь воеводы, который легко посылал когда-то на смерть самых близких, тех, кого еще вчера обнимал и целовал, предавал своих кормильцев, сменял князей, будто бездомный пес хозяев, жил без бога в душе, имея там только идола, идолом же тем был для себя сам.

Войтишич начинался с Мономаха. Пришел в Киев уже воеводой великого князя, утвердился в городе среди богатеев, у князя же причислялся к самым доверенным, ибо когда нужно было послать дружину с зятем Мономаха, ромейским царевичем Леоном Диогеном, супротив самого ромейского императора Алексея, то послан был Войтишич. С помощью половцев Войтишич взял несколько ромейских городов на Дунае и, быть может, пошел бы дальше, угрожая императору, но в Доростоле царевича Леона убили два подосланных императором сарацинских лучника. Словно в отместку за смерть Леона, Войтишич взял и разрушил еще множество

ромейских городов на Дунае, количество разрушенных городов превышало количество дней, проведенных воеводой в походе, такой славы для Русской земли еще, кажется, не добывал ни один воевода, – вот почему даже после смерти Мономаха, когда на стол Киевский сел Мстислав, Войтишич не был отстранен, не был заменен новым тысяцким, как это велось издавна, а князь доверился воеводе во всем, и тот служил новому князю верой и правдой в делах праведных и неправедных, как это было с завоеванием княжества Полоцкого, захваченного Мстиславом на некоторое время для своего жадного сына Изяслава.

Служил Войтишич и Ярополку, брату Мстислава, но, своевременно почуяв, что сила не на стороне Мономаха, а в руках черниговского загребушего князя Всеволода Ольговича, перекинулся с дружиной к тому.

Когда после смерти Ярополка в Киеве засел Вячеслав Мономахович и Всеволод пришел из Чернигова, чтобы захватить себе великокняжеский стол, воеводой у него был Войтишич, и жег Копырев конец, выкуривал Вячеслава из Киева тоже Войтишич, потому что никто бы до этого не додумался, разве лишь такой злой и безжалостный половецкий хан, как Боняк шелудивый.

Менялись князья – Войтишич оставался. Покрывал широкой своей бородой все свои преступления и неправды, все коварства и измены, топил в широкой улыбке все темные дела, выплывал из самых бурных водоворотов, хоронил

князей, боевых своих друзей, умирали вокруг него namного младшие его, а он жил и жил, долго, упорно, будто червь-древоточец.

Умирая, Всеволод добился, чтобы киевляне целовали крест брату его Игорю, целовал крест и тысяцкий Войтишич, а за спиной у нового князя уже сговорился с воеводами Глебом и Лазарем и послал гонцов в Переяслав к Изяславу Мстиславичу, призывая того в Киев. Когда Изяслав появился перед киевскими валами, Войтишич с полками переметнулся к новому князю, но, видно, уже устал он быть воеводой несколько десятков лет, поэтому при Изяславе отошел от дел, отдал князю всю видимую власть, оставив для себя независимость и чувство превосходства.

– Может, киевляне и согрешили, – сказал он на слова игумена Анании, я же не грешу больше, а ежели и грешу, то не по нужде, а только от тоски. Есть у меня девка вельми ядреная, могу дать тебе, игумен, на ночь или на две. Отведаешь, будь оно проклято?

– Когда я был в Царьграде, патриарх говорил мне, – не слушая разглагольствований Войтишича, торжественно начал было Анания, однако боярин не дал ему закончить.

– Я уже слышал, а гостям моим расскажешь в другой раз, будь оно все проклято. Давайте же выпьем по чаре, ты же, игумен, раз уж не пьешь, можешь спеть нам тропарь, потому как тот, кто пьет вино, не услышит и тропаря, когда напьется!

Войтишич хлопнул в ладони, забегали вокруг стола служки, за трапезу принялись еще несколько молчаливых блюдолизов, в обязанность которых, видно, входило выслушивание похвальбы и разглагольствований Войтишича.

Привыкший к сдержанности и спокойствию Дулеб молча сидел рядом с боярами, Иваница поглядывал вокруг любопытным глазом, надеясь вынести из этого странного посещения хоть какую-нибудь пользу, ибо не верил, чтобы их позвали просто так, ради самой трапезы в этот, быть может самый богатый в Киеве, дом. Тут должно было что-то случиться, потому что всегда что-то происходит даже среди самых простых людей, у этого же боярина за спиной была жизнь столь же темная и запутанная, как волосы в его косматой бороде. Иваница готов был наплевать в свой собственный ковш с медом, если бы оказалось, что Войтишич пригласил их лишь для трапезничанья и они уедут отсюда, отведав яств и напитков, наслушавшись разглагольствований бояр, сами не промолвив ни слова.

На столах стояло множество посуды золотой и серебряной, огромные серебряные, позолоченные чаши, кубки, рюмки дивной работы; служки носили множество яств: были тут тетерева, гуси, лебеди, журавли, рябчики, голуби, куры, зайцы, оленина, вепрятина, телятина, всякие напитки: вино, мед, чистый и варенный с кореньями, квас. Слуги, обливаясь потом от спешки, на пальцах несли тарелки с жареным мясом, другие обмахивали боярина для прохлады, третьи дер-

жали серебряные умывальницы, несли горячую воду, чтобы споласкивать руки.

Время от времени игумен Анания, который почти не ел и не пил ничего, пытался начать свой рассказ:

– Когда я был в Кведлинбурге, германский император сказал мне...

Однако Войтишич не давал ему закончить, кричал:

– Игумен соткан из слов, как моя одежда из шерсти, будь оно проклято! Я же сколочен из дела, будто корабль из дубовых досок! Но все славные дела в прошлом, ныне же не происходит ничего. Правда, лекарь, будь оно проклято!

– Напомнить должен, – сказал Дулеб, – что я прислан великим князем Изяславом, дабы гнать след в деле убийства князя Игоря. Неделю назад в Киеве произошло убийство. Князь Игорь, – ведомо тебе, наверное, – принял перед этим схиму в монастыре святого Феодора, где игуменом...

– Игумена знаю, – засмеялся Войтишич, – Анания доводится мне шурином, как праведный Лот был шурином Аврааму. И как Лот был единственным праведником в проклятом богом Содоме, так и Анания в Киеве! Ибо если этот город заслужил себе праведника, то им может быть только игумен. А мы не праведны, будь оно проклято! Я пятьдесят лет махал мечом, словно цепом, какое уж тут праведничество! А что Игорь убит – не слышал, не слышал... Князь никудышный был, отступился от своего слова, еще и не договорив до конца, мужей лучших от киевлян защитить не хотел, с пер-

вого дня пустил все на темный люд, а только убивать его не за что, потому что убивают лишь достойных того, твердых супротивников. Как, игумен?

Игумен молчал почтительно и торжественно-печально.

Войтишич незаметно для гостей показывал слугам, кому доливать, и, не переставая смачно чавкать, заговорил, нагнувшись почти к самому лицу Дулеба:

– Дорогой ты мой, я тебе скажу. Ты человек мудрый, но моложе меня вдвое, а то и больше, ты еще не все знаешь, будь оно проклято. Что такое князь? Это щит всей земли. А что такое земля? Леса, воды, звери и птицы небесные, небо и солнце? Нет, земля – это лучшие люди, рожденные или избранные, выделенные, заслуженные. Настоящий князь тот, кто умеет оберегать лучших людей. Таковы были Владимир и Ярослав, таковы были Мономах и Мстислав, и Всеволод Ольгович тоже такой, и князь Изяслав ныне тоже такой. А Игорь? В тот день, когда стал он князем, собрались киевляне в Софию, и целовали мы князю крест в знак подчинения, а он целовал нам крест на защиту киевлян – и все бы хорошо. Но какие-то людишки бросились на Подол, собрались возле Туровой божницы, заколотили новое вече, будь оно проклято! Что должен делать настоящий князь? Послать воеводу с дружиной и разогнать горлопанов, будь они прокляты! А князь Игорь с братом Святославом и дружиной едет на Подол и так боится киевских крикунов, что не приближается к ним сам, а посылает Святослава. Тот истово целует

крест, чтобы киевляне сами себе избирали тиунов и тысяцких. Слыхивали ли когда-нибудь такое в Киеве! Игорь тоже целует крест. Великий князь одним поцелуем отдает всех лучших людей – и кому? Тем, что выползли из нор? Да на них не удержишься, потому что они снова туда же заползут, будь оно проклято, а под солнцем останутся только лучшие люди! Не так ли, игумен? Молчи, я и так знаю, что ты скажешь. Плохо, когда князь калека телом, еще хуже, когда он и душой калека! У Игоря болели ноги, а в Киеве он сразу же выдал, что слаб и душою тоже. Если же народ допускает, чтобы им управляли калеки, и народ такой – тоже калека. Мы, киевляне, не такие, будь оно проклято. А потому не стали держаться Игоря и призвали Изяслава. Князя настоящего, души широкой, ума высокого, державного. А Игоря отстранили, потому что Киев такой город, что отбрасывает все негодное для него. Отбрасывает, отстраняет, но не убивает. Мы князей не убиваем. Тут никто не убивает князей.

– Но ведь убит, – напомнил Дулеб.

– Дорогой мой, – наставил на него поднятые ладони Войтишич, – ты мудрый лекарь и должен знать, кого какая хворость донимает. Кто на чем сидит, то у него и болит. Князей убивают только князья, будь оно проклято!

Иваница под эти разглагольствования спокойно встал из-за стола и направился к двери.

Ноги вынесли Иваницу в темные переходы воеводского дома, переходы запутанные и опасные, ибо все здесь стро-

илось так, чтобы преградить путь незваному, ошеломить и обескуражить несмелого, устроить в нужном месте засаду на дерзкого. Все это не касалось Иваницы, он не знал страха, он продвигался по запутанным переходам Войтишичева дома и с точно таким же беззаботным достоинством, как где-нибудь в поле или в негустом лесу. Ему было радостно от того, как умело выскользнул он из-за воеводского стола, где сидению, казалось, не будет конца и где ты сидел, будто завязанный в мешке, не ведая, что творится вокруг тебя. А к такому состоянию Иваница приноровиться никогда не мог, да и не хотел приноравливаться, потому что человек должен собственными глазами осмотреть все вокруг, если не хочет оказаться в безвыходном положении.

«Ежели спросят, – решил Иваница, – скажу, что иду справиться нужду». Но никто его не спрашивал, никто и не повстречался у него на пути, лишь когда оказался во дворе, едва не налетел на празднично одетого высокого человека, который шел прямо на Иваницу, шаркая ногами так, будто разгребал снег. Видно, тоже гость Войтишича, хотя и запоздалый, да и не из тех, которые ждут, пока их позовут да накормят, – уже где-то хватил капельку, которой не мешкая и похвалился, дохнув на Иваницу таким густым перегаром, хоть с ног падай.

- Ты кто такой? – хрипло и властно крикнул человек.
- А ты кто? – весело полюбопытствовал Иваница.
- Тебя спрашиваю!

– А я тебя спрашиваю.

– Меня знает весь Киев!

– Я не знаю – вот тебе и не весь Киев.

– Петрило. Слыхал?

– Нет.

– Не слыхал? А вот я застаю тебя с непочтительной речью супротив князя нашего, либо ночью со светом в жилище, либо... Будешь знать тогда восьминника Петрилу.

– Не мог ты найти приличнее работы? – с улыбкой спросил Иваница.

– Да кто ты, чтобы так вот мне суперечить? – закричал Петрило.

– Иваница.

– Иваница? А что это такое?

– Иваница, да и весь сказ. Разве мало?

– Чего слоняешься в сем дворе?

– Сидел за столом у воеводы, а теперь взял да и встал.

– Ты? У самого Войтишича за столом? Простой смерд? И встаешь раньше всех?

– Время от времени приходится относить куда-нибудь паскудство, которого набираешься за такими столами. Или, может, нужно было беречь, покуда ты придешь и заберешь у меня?

– Люб ты мне, – хлопнул Иваницу по плечу Петрило, – отнеси свое и возвращайся к столу. Выпьем с тобой. Выпьем и послушаем старого Ивана. Знаешь, куда тут идти?

– Найду. И без восьминника найду...

Петрило снова начал разгребать невидимый снег, направляясь в воеводские палаты, а Иваница продолжал слоняться по суровому подворью воеводскому, изо всех сил прикидываясь дурнем и тем временем окидывая пристальным взором все подозрительное или просто такое, что могло бы ему пригодиться. Сразу нужно отметить, что не обнаружил он ничего и возвратился к пирующим чуточку обеспокоенным, потому что не привык к неопределенности и неизвестности.

За трапезой ничего не изменилось. Точно так же бесшумно метались служки, нося новые и новые яства, точно так же разглагольствовал Войтишич, точно так же пытался похвалиться услышанным то от патриарха, то от германского императора, то от короля франков, то от самого папы римского сухой как щепка игумен, который, собственно, за всю свою жизнь не выезжал из Киева даже в Вышгород. А врал лишь для самовозвеличения, да еще, быть может, ради придания веса своему родичу Войтишичу. Дулеб, как и до того, в разговор почти не встречал, только время от времени пытался возвратиться к тому, что было для него важнее всего на свете, однако Войтишич избегал даже самого слова «убийство», в чем имел теперь сообщника – Петрилу, который, перегибаясь через весь стол, кричал Дулебу: «Лекарь, отведай-ка вот этого! Плюнь на все и отведай!»

Иными словами, Иваница не заметил ничего нового за столом, потому что Петрило не мог считаться здесь новым:

просто еще один из воеводских блюдолизов, хотя и сам в Киеве, выходит, человек не без значения; не имел Иваница ничего и для Дулеба, что угнетало его вельми, но он возрадовался бы, если бы мог знать, что за это время Дулеб уже понял хитрую игру, затеянную Войтишичем и его друзьями, он почти разгадал их тайный замысел, сводившийся тем временем к избежанию разговора об убийстве Игоря, к избежанию самого слова «убийство», избежание же какого-либо слова является произвольным или же заранее определенным стремлением обратить на него особое внимание. Беседа их вертелась вокруг необычного события, не называя самое событие, речь шла о вещах, казалось бы, начисто отдаленных и даже просто бессмысленных, – а Дулебу слышалось только одно: смерть, смерть, смерть; говорилось о городах, которые Войтишичу приходилось брать со своей дружиной, говорилось о киевских горах с золотыми церквами и монастырями, столь милыми сердцу игумена Анании, говорилось о городских судах, которые чинил Петрило, заботясь о пользе княжеской и причиняя при этом горе и кривду людям безымянным, – а у Дулеба все это как-то смешивалось в одно, он думал о своем, для него все сливалось в неразрывное целое: Игорь, и город, и горы, и горе.

Еще несколько дней назад он ехал сюда, хотя и без особого желания, но и не боясь княжеского поручения. Теперь же убедился, что Киев не дается ему в руки. Не было души, которая не знала бы тайны убийства князя Игоря, но полу-

чалось так, что не было души, которая могла бы раскрыть тайну.

– Мне кажется, что в Киеве жажда единодушия превосходит стремление к правде, – заметил Дулеб, уже в который раз пользуясь необязательностью их разговора, при которой слова скакали, будто пузырьки на лужах во время большого дождя.

– Ибо лучше ошибаться единодушно, чем быть правдивым в одиночестве, объяснил игумен.

– А как же слово божье про блаженных праведников? – любопытствовал Дулеб.

– Праведны у нас те, кто вместе со всеми.

Снова разговор шел словно бы о вещах очень отдаленных, но точно так же как малейшая прямая линия – всего лишь отрезок дуги большого круга, который так или иначе должен замкнуться в неразрывности, – он неминуемо должен был прийти к тому, о чем думали, чего не могли забыть никак и никогда.

– Я склонен прийти к мысли, что в Киеве нет виновников, – еще не произнося слова «убийство», но уже подходя к нему вплотную, снова заговорил Дулеб. – Да и не может быть виновников в этом городе, где и не слыхивано об убийстве князей или кого-нибудь из их приближенных. Выгнать из города, разметать двор, сжечь дома – это киевляне могли всегда, но дойти до такого...

– Дорогой мой, – замахал на него Войтишич, – братоубий-

ство противно душе русской! Только в чистом поле, только с мечом в руке и с богом в сердце...

– А Борис и Глеб? – напомнил Дулеб.

– Они убиты Святополком окаянным. Это был выродок среди князей и среди люда.

– А ослепление Василька? – снова напомнил Дулеб.

– Это рука ромеев дотянулась даже сюда. Ты, лекарь, знаешь ли ромейские повадки, а уж я навидался вдоволь, будь оно проклято. А где это Емец? Здоров ли?

– Ты ведь знаешь, воевода, – промолвил Анания, – что Емец вельми опечален бегством сына.

– Дорогой мой, бездетность твоя мешает тебе понять, что сыновья и вырастают затем, чтобы бежать от своих родителей; когда-то и я бежал от своего отца, хотя он был не последний человек в городе, а войтом², будь оно проклято. Не бежал бы – я тоже стал бы войтом. А так с божьей помощью да княжьей лаской послужил земле нашей рукой своей и сердцем...

– Теперь послужишь мудростью, – вклинил Петрило.

– Но Емца надобно утешить. И гостям моим покажу Емца. Ибо нигде не увидят такого человека. Посмотрим, лекарь, дорогой мой?

Дулеб рад был наконец встать после затянувшегося, чуть ли не каменного сидения, про Иваницу и говорить нечего...

² Во времена раннего средневековья должность войта была не сельской, как позднее, а городской.

Снова очутились они в мрачном дворе, но с появлением Войтишича возникла словно бы сама собой покорность, откуда-то выступали темные фигуры, кланялись и исчезали, другие темные фигуры сопровождали хозяина с гостями, предупредительно и учтиво держась на расстоянии. На каждом шагу угадывалась здесь готовность выполнить любые повеления, невидимые исполнители воеводиных желаний метнулись куда-то вперед, все там должно быть приготовлено еще до прихода Войтишича, он не блуждал по двору, не должен был искать то, что хотел видеть, – он просто шел туда, где оно должно было быть, и оно было там!

В глубине двора, где высокая деревянная ограда изгибалась углом, переходя на другую киевскую улицу, они нашли высокого хмурого человека, который спокойно стоял, опираясь на тяжелое длинное копьё с намного большим, чем обычно, наконечником. Поражало лицо этого человека, поражало своей бледностью, почти полной обескровленностью и мертвым каким-то выражением. Когда же Дулеб и Иваница, которые впервые видели Емца, подошли вплотную, то увидели, что у него на месте глаз – багровые шрамы, и тогда оба поняли причину мертвенности лица этого бывшего воина и одновременно поражены были бессмысленностью его вида, потому что копьё в руках у слепого, переставая быть оружием, уже не могло выполнять своего прямого назначения и, следовательно, воспринималось как вещь совершенно бессмысленная.

– Дорогой мой, – почти растроганно промолвил Войтишич, – тут вот мои гости, и они хотели бы увидеть, что с тобой сделали ромеи, когда мы вместе ходили на Дунай. А уж ты им покажешь, что воин всегда остается воином. Покажи-ка им, дорогой мой! Тут княжий лекарь приближенный и его слуга.

– Товарищ, – напомнил Дулеб.

– Товарищ, – повторил Войтишич, – вишь, как состарился ваш воевода, будь оно проклято, уже и слова забываю. Покажи, дорогой мой Емец.

Емец молчал и не пошевелился на речь воеводы, – видимо, привык стоять вот так и дослушивать до конца, научился терпеливости, знал склонность Войтишича к словоизлияниям, поэтому подождал еще немного и после того, как Войтишич умолк, грубым и словно бы знакомым Дулебу голосом крикнул куда-то в угол ограды двора:

– Ойка, кричи!

Дулеб с Иваницей одновременно взглянули туда, куда послал свое веление Емец, и увидел то, что должны были бы давно увидеть: врытый в землю, сколоченный из грубых горбылей щит, широкий и высокий, будто ворота, и из-за этого дубового, страшного своей прочностью и нечеловеческой мрачностью щита ударило на них девичье, почти детское, отчаянно-болезненное:

– Ой-ой-ой!

И тяжелый Емец, неожиданно вскинувшись, мгновенно

замахнулся своим копьём и швырнул его прямо на голос, и острое железо вонзилось в щель между горбылями так, будто хотело рваться на ту сторону и поразить невидимую девушку.

Непостижимо быстрыми были руки Емца, но еще более быстрым оказался Иваница, ибо полетел вместе с копьём, даже словно бы опередил копьё, и, пока острый наконечник впивался в крепкое дерево, парень очутился за дубовым щитом и сразу выхватил оттуда невысокую чернявую глазастую отроковицу, одетую в белую льняную сорочку, в наброшенном поверх сорочки корзне из белой козьей шерсти, голоногую и босую, хотя осенний день не мог похвалиться теплом.

– Вот уж, – сказал Иваница то ли удивленно, то ли обрадованно, то ли даже угрожающе.

– А не трогал бы ты ее! – недовольно промолвил Емец. Так, словно бы видел все происходившее вокруг.

И снова Дулебу показалось, будто он слышал этот голос, и слышал совсем недавно, он до сих пор еще смотрел на копьё, которое еле заметно вздрагивало от удара, и копьё это тоже напоминало ему знакомое, не нужно было и углубляться в далекие воспоминания, загадочная первая ночь в монастыре игумена Анании стояла у него перед глазами, не верилось лишь, чтобы этот слепой и, собственно, беспомощный человек смог пробраться за монастырские стены, найти каменный скит, выманить за дверь его, Дулеба, и ударить копьём насмерть. Но все было то же самое: и грубый голос, и боль-

шое копьё, и умелый бросок на голос в темноте, ибо слепому все равно светит ли солнце на дворе, или стоит темная ночь. Для него вокруг вечная ночь, и он как-то научился в этой вечной ночи попадать страшным оружием так, как не сумел бы и зрячий.

– Дорогой мой, – обратился к Иванице уже и сам воевода, – слушай, что тебе говорит этот человек.

– Вот уж, – беспечно ответил Иваница. – Не привык я, чтобы вот этак издевались над отроковицами.

– Она его дочь! – крикнул Петрило. – Знай и не вмешивайся!

– Дочь – это ничего. Однако не допущу. Хочешь, чтоб я за тебя постоял? – спросил он девушку.

– А вот и не хочу! – сказала она голосом вовсе не таким, как кричала из-за дубового щита.

– Почему не хочешь?

– Не хочу, чтоб тебя убили.

– А меня убить нельзя, – засмеялся Иваница. – Вон Дулеб, княжий лекарь, он тебе скажет, что Иваницу убить нельзя.

– Князь попытался защититть меня, да и его убили, – сказала девушка голосом грустным и безнадежным.

Вот оно! Слово молвленное! Тут не избегают этого слова, не обходят его вокруг да около, здесь звучит оно во всей своей неприкрытой наготе и неотвратимости.

– Князя? – подошел к девушке Дулеб. – Ты молвила – князя?

– Молвила – и ладно. Убили его. А тоже хотел меня защитить.

– Князя Игоря?

– Других еще не убивали.

Дулеб чуть было не спросил: «А разве и еще должны убивать?» – но своевременно удержался, взглянул на Войтишича. Тот тоже посмотрел на княжьего лекаря и развел руками, словно бы хотел произнести свое излюбленное: «А будь оно все проклято!»

– Так получается... – У Дулеба даже дыхание перехватило от нетерпения. – Получается, это как же?

Ему еще не верилось. Искал в Киеве, спрашивали с Иваницей, никто ничего не мог сказать определенного, никто не выдавал тайну великого города, а здесь вот... Как же так? Позволь допросить Емца, воевода? Допрашивай, будь оно проклято. Ты знал об этом, Емец? Спрашиваешь, знал ли? А что может знать слепой? Я спросил бы у тебя, зрячего: ты знал об этом заблаговременно? Да и теперь знаешь ли что-нибудь толком? Нет, я спросил не так. Тебя нужно спрашивать напрямик: это ты убил князя? За то, что он когда-то обидел тебя, вмешался в твои семейные дела, ты взял и убил его? Да? Слепой не может ни на кого сердиться. Потому что слепой не видит. Тогда я точно так же не видел, как и сегодня, как и много лет до этого, стоял себе и метал копьё, чтобы рука не забывала и чтобы в плече не было зуда. Потому, что у старого воина зудит в плече, когда не имеешь

дела с оружием повседневно. Тебе все это невдомек, потому что слышу по твоему голосу, не воин ты. Лекарь я – вот кто. Ну, да все равно. А я должен каждый день метать копье. И для себя, да и для моего воеводы, чтобы развлекать его старость, когда нужно. Князь Игорь ехал мимо воеводи на двора. Это был второй день княжения Игоря в Киеве, а еще должно было быть лишь десять дней этого княжения, но Игорь не ведал, считал, что уже сел здесь до скончания века. Так он ехал, а я метал копье, Ойка кричала по моему велению, князь услышал и рванул во двор, еще и челядинцев воеводининых изрубил, которые не открыли ворота быстро и беспрекословно. Воевода Войтишич тоже ехал с князем, но не успел за ним, как тот ворвался в его двор. Может, и от княжьей службы отказался именно тогда. Но это дело воеводино. Ойке князь сказал: «Приходи ко мне, и чтобы волоска на твоей голове никто не тронул». Девчонка глупая – пойду и пойду к князю, раз он звал. А кто же не ведал, как охочи Ольговичи к моложатине! Ойка же побывала дважды у Игоря, принесла новое корзно драгоценное, Кузьма изрубил его и вновь надел на нее старую козью шерсть. А ты ипустил дочь к князю? Пустил, ибо что может сделать слепой? Говорит Ойка, что не далась, а ходить – ходила. Кузьма кипел при одном упоминании об Игоре. Когда того изгоняли из Киева, говорил, что так ему и нужно, а потом удивлялся вельми мягкости Изяслава, когда тот выпустил Игоря из поруба, перевел из Переяслава в Киев, да еще разрешил нахо-

диться в отцовском монастыре. Кузьма кричал: «Убить его следует! Вырвать корни Ольговичей в Киеве!» Это он и на вече кричал? Может, и он, может, и другие. Не был там. Метал себе копье, а Ойка кричала мне из-за горбылей. Но ведь до этого Кузьма, сын твой, кричал, что нужно убить князя Игоря, вернее, уже и не князя, а монаха, схимника святого, убивать которого грех непростительный. Ты слышал и молчал. А кто молчит – тот тоже словно бы становится соучастником убийства, когда оно уже свершается. Ежели нравится тебе, лекарь, ты можешь и меня считать убийцей Игоря.

Тут вмешался Войтишич, хотя всем видом своим показывал, как сильно не хотелось ему вмешиваться.

– Емец воин, а не убийца, – сказал он и еще раз раскрыл рот, чтобы добавить свое привычное «будь оно проклято», но передумал и лишь посопел в свою косматую бороду.

– До сих пор не видел разницы между сими, – тихо проворчал Иваница, но так, что Ойка услышала и сверкнула на него своими иконными глазами, в глубине которых металась целые скопища чертей.

...Кто может принимать во внимание крик какого-то там парня? Кричал и кричал себе Кузьма да угрожал-похвалялся. Крика на земле много, дела меньше. Так оно все как-то и проходит. Ну, а что тут не прошло бесследно, то уж никто и знать не мог бы. Тогда прибежали люди, сказали: «Кузьма убивал Игоря. Нанес первый удар и последний». Кто-то там держал, кто-то там дергал одежду князя, а Кузьма бил. Я на-

учил его бросать копьё, а кто умеет бросать копьё, тот умеет и драться. И тот монах был с Кузьмой от самых ворот и до конца. Вместе и бежали из Киева. Ибо здесь им не жить. Какой монах? Привратник из монастыря. Открывал ворота перед Кузьмой и вел всех в церковь, где молился Игорь. Почему же ты, игумен, не сказал нам в первый день нашего приезда? Потому что игумен – святой человек. Он не в силах вмешиваться в грязь и преступность жизни повседневной, лишь такой отважный человек, как воевода, имеет мужество говорить обо всем не таясь...

– Да будь оно все проклято, – вздохнул Войтишич.

А Ойка в это время шепнула Иванице: «В монастырь не возвращайтесь, перебудьте где-нибудь на Подоле. Я найду тебя». Иваница поправил на девушке белое корзно, прикоснулся пальцем к нежной Ойкиной шее, отдернул руку, будто ожегся. Что-то чертовское было в этой девушке, несчастной и загадочно-независимой одновременно. Не зависимой ни от кого и ни от чего.

...Ладно, Емец. Труден наш разговор, но не я в том повинен, поэтому скажи мне еще одно. Скажи: это ты хотел меня убить в монастыре? Ты бросал копьё?

Сказали мне: Кузьма в монастыре. Прячется. Не было у меня жалости к Игорю, но и позора на свой род брать не хотел. Мой сын – я должен был его сам и покарать. Пошел, позвал, метнул копьё. Угадал лишь наполовину. Потому что в самом деле зовут меня Кузьмой. Мне больше и не сказано.

Сказано: Кузьма в монастыре. В ските князем. Раз Кузьма, – мой сын. Больше Кузьмы для меня не существует. Меня звать теперь Дулеб, про Кузьму никто и не ведает здесь, в Киеве. Чудно все это малость. Но все обошлось, не будем больше толковать об этом. Хотя ты мог бы тогда спросить у игумена: он бы и сказал тебе, что не сын, а лекарь княжий. Разве игумен стал бы со мною говорить? Может, ты слышал, чтобы он обратился ко мне хотя б единым словом здесь? Игумен человек святой и стоит высоко, а мы внизу, в темноте и горе...

Тут Иваница решил, что ему уже не нужно скрывать свое ночное приключение в монастыре. Он наклонился к Дулебу, чтобы рассказать, как его выманивали из скита, но Ойка схватила парня за руку, шепнула:

– Молчи, это была я!

– Ты была? – не поверил Иваница. – А почему белая? Ты ведь чернявая!

– Чернявая, а ночью белая.

– Это ты меня водила и заманивала?

– Я.

– А куда исчезла?

– Сюда.

– Ты хотела убить Дулеба? Может, и меня?

– Никого же не убили, дурень. А сегодня не возвращайтесь в монастырь.

– Ойка! – загремел слепой Емец. – Не шипи мне! За щит

и кричи! Пускай мой воевода еще согреет сердце от полета копья...

– А верно, будь оно проклято! – крикнул Войтишич. – Челядь, где мед и вино? Несите сюда кубки, ибо вряд ли я еще увижусь с моим дорогим лекарем Дулебом!

А Петрило молчал в течение всего этого тяжелого и запутанного разговора, лишь сопел да пошаркивал ногами. Когда же смекнул, что все здесь сказано, выдвинулся наперед и обратился к Дулебу:

– Обедать завтра у меня.

Похоже было и не на приглашение, а на веление. Однако Дулеб не был бы самим собою, если бы так легко поддавался каждому. Он склонил голову в знак благодарности, но согласия не дал.

Обедали они не у Петрилы и не в Киеве, на княжеской Горе, а на Подоле; и не за роскошным столом, а на старом дубовом пне, поставленном посредине хижины, окутанной темнотой и продуваемой сквозняками, – правда, просторной, потому что хозяин любил простор; а ели хлеб, да лук, да мясо такое старое и жесткое, что хозяин смеялся: «Эта корова была старше меня». Хозяина звали Кричко, и не потому, что принадлежал он к крикунам, хотя голос имел отнюдь не слабый, а прежде всего потому, что всю свою жизнь выплавлял крицу в невысокой домнице, поставленной на самом берегу Почайны точно так же, как и хижина Кричкова. Был он человеком неопределенного возраста, телом скорее

слабый, чем могучий, как это могло бы показаться, имея в виду его взаимоотношения с железом. Хотя он изготавливал сталь для мечей, стрел и копий, сам оружия не имел и не любил его, потому что любил волю, а оружие волю не то что бы ограничивает, а просто уничтожает. Доменицу поставил у самой Почайны, потому что для работы нужно было много воды. Хижину возвел там же из тяготения к простору да свободе; он готов был каждый год ставить новую хижину, поскольку старую сносили весенние разливы Почайны, зато чувствовал себя независимым здесь, где кончался Киев, где кончалась власть, где не мог достать Кричка даже сам Петрило, сила которого заканчивалась, в соответствии с обычаем и давними правдами княжескими, еще с времен Ярослава Мудрого, на расстоянии от берега, равном броску палки. Кричков двор выбрал Дулеб. Понравилось ему, что этот дом за Киевом, подумалось: «Вот независимый ум, человек, к которому, они должны были бы прийти в первый день своего прибытия; этот знает больше всех, его знание бескорыстное, а стало быть, чистое и правдивое». Кричко обрадовался гостям, потому что таких у него не было никогда. Приезжали к нему за сталью, брали свое, платили, уезжали. Иной раз перебрасывались словом-другим, но речь всегда шла лишь про железо да про железо, а человек мягче железа; вот и его жена, к слову говоря, давно ушла из этого мира, а железо есть, каждый день закладываешь в доменицу руду, известь, уголь, дуешь мехами, разжигаешь огонь.

– Нам нужно пристанище на несколько дней, – сказал Дулеб. – Заплатим хорошо, будем лишь спать, да чтобы кони ночевали.

– Коней можно и на пашню, – показал Кричко на зеленую, уже кое-где чуточку прижухлую от осенних ветров отаву, – а вы будьте там, где я. Ни лучше, ни хуже вам не будет. Кто вы – не спрашиваю, потому как и без того вижу.

Дулеб сказал ему, кто они и зачем в Киеве, а Иваница лишь посматривал на Кричка своими неомраченными глазами, а потом добавил то, о чем забыл Дулеб: что они сюда приехали прямо с обеда у самого Войтишича.

– Иль, может, ты и не слыхивал про Войтишича? – спросил Иваница у Кричка, сразу же вызывая того на откровенность.

– Почему не слышал? Я все в Киеве знаю. С деда-прадеда киевлянин. Мои предки жили здесь еще тогда, когда и князей не было. Кто старше в роду, тот себе и князь. Да и сегодня еще так у нас ведется. В своем доме киевлянин – пан и князь. На улице – вольный человек. А уж на боярском дворе – лизогуб и лизоблюд. А что к Войтишичу попали – ваше дело. Да только я бы, к слову говоря, не пошел туда ни за что. Всякое видел Киев, многим многое прощал, потому как у нашего города ласковое сердце. Однако Войтишичу не можем мы простить его измен. Менял князей, как бездомный пес хозяев!

– Нам Войтишич помог, – сказал Иваница, – никто не на-

вел нас на след убийства Игорева, а он – навел. . .

– Все враки, – махнул рукой Кричко. – У нас в Киеве не верьте никому, вон там на Горе не верьте. Там одни подкуплены Изяславом, другие Ольговичами, третьи – Юрием Долгой Рукой, четвертые – подкуплены всеми сразу, эти хуже всех, они просто молчат. Трем вещам надобно верить: друзьям, Киеву, и правде.

– Войтишич тоже Киев, – промолвил Дулеб.

– Войтишич не Киев. Ни Борислав, ни Мирослав, ни Гордята, ни Лазарь, ни Петрило, ни Василь Полочанин. Киев до поры до времени незаметен. Он не тянется к небу золотыми церквами, не городит богатых дворов, не рассиживается на дубовых скамьях в трапезных, – он здесь, вокруг, он подпирает Гору дымами, стуком топоров, звоном молотов, он ложится спать и просыпается впроголодь, он никому не отдаст своей воли, но и сам не хочет ничьей воли. Голос Киева нужно уметь уловить. Это становится делать все труднее, слышат только люди с обостренным слухом. Когда-то можно было слышать голос Киева на вечеах, но это было давно. Теперь становятся вокруг князя наемные крикуны, чванливые бояре, подкупленные горлопаны, и уже это и не вече, а пустой гам.

– А на том вече, где раздался крик об убийстве Игоря, ты тоже был? спросил Иваница.

– Был. И когда Игоря принимали, был. И на Подоле был, возле Туровой божницы, когда снова князя потащили к себе

и забрали у него силу и власть, там тоже был, да не вышло, вишь, – бояре убрали Игоря, приманули Изяслава.

– Так Игорь был мил сердцу киевлян простых? – Дулеб кивнул Иванице, чтобы тот принес из переметных сум пергамен и приспособления для письма, надлежало записать все про Емца, да и Кричко должен бы сказать что-то полезное для дела.

– Легко отказывался от своих слов, а такой всегда подозрителен. Нет к нему веры. Но убивать его никто не думал. Возникло как-то, словно с неба упало. Так, будто бог услышал нашу мольбу и позволил взбунтоваться. Когда подняли крик на вече среди подкупленных горлопанов, упал с собора сверху черный коршун, и это было принято как знак смерти, после чего уже не было спасения для Игоря. Да все равно и без него еще много князей.

– Мне говорили: убил Кузьма, сын дружинника Войтишичева Емца, слепого издавна.

– Вранье, считай. Не знаю Емца, не знаю и Кузьмы, а только ежели тут замешан Войтишич, то должно быть вранье. Не мог один человек убить Игоря.

– Вдвоем они. Еще монах. Привратный из монастыря святого Феодора. Открыл ворота, показал, где князь, сам первым бросился бить. Не видел?

– Сказано ведь, не дотянулся.

Иваница принес приспособления. Дулеб расположился возле дубового пенька, записал в свой пергамен: «Властите-

ли смертны, но потребности людские вечны».

Кричко признавал лишь два состояния для человека: работа – и разговор. Коль уж не стоял у своей доменицы, должен был бы наговориться со своими гостями, посланными ему случаем.

– Смерть всегда кому-нибудь служит, – сказал он Дулебу. – Нужно искать не виновников, а тех, кто имеет корысть от смерти того либо иного человека. Раз убит князь – и искать нужно среди тех, где он был: среди князей, да бояр, да игуменов. Ты там и искал, а очутился у нас.

– Не ищем здесь, прячемся, – сказал Дулеб. – Предупредила нас чистая душа, чтоб не оставались там, где были. Да и убийцы названы. Теперь нужно идти по их следу. А следа не ведаем.

– Не ищите следа, ежели хотите получить мой совет. Ищите тех, кому от этого корысть.

– Надлежит нам показать, что князь Изяслав чист перед богом и людьми. Вот.

– Разве он князь?

– А кто же?

– Празднословный забияка. Да ты его лекарь, потому мне лучше замолчать.

– Лекарь привыкли смотреть правде в глаза.

– Я уже сказал тебе всю правду.

Дулеб записал: «Человек должен жить потребностями. Первейшая потребность – правда».

На другой день утром они с Иваницей поехали на киевский мост через Днепр. Воевода Мостовик, весь в желто-зеленой седине толстых, словно снопы, усов на понуром лице, человек, поставленный, кажется, еще князем Владимиром Мономахом, во времена которого сооружен этот дивный мост, выслушал посланцев Изяслава, которым крайне необходимо было знать, кто проходил по мосту из Киева в тот день, когда был убит князь Игорь; выслушал внимательно, долго молчал, а потом сказал совершенно некстати:

– Лепо, лепо.

– Вот уж! – не выдержал Иваница. – Мы ему про смерть в Киеве, а он нам: лепо.

Воевода велел оседлать себе коня и поехал с посланцами к мосту, где стояли два охранника, люди неопределенного возраста, зато с новыми и острыми уже с первого взгляда топорами на длинных ручках и с глазами тоже острыми, как лезвие топоров.

– В ту пятницу кто стоял? – спросил воевода Мостовик, делая ударение на слово «ту», ибо тут, видимо, запомнилась пятница убийства киевского и уже будет отличаться среди других пятниц еще довольно долго, если и не всегда, пока стоят над мостом поставленные киевским князем воеводы.

– Никита стоял, – сказал один из охранников, кивая на своего товарища, который не рвался открываться перед воеводой, еще не ведая, зачем Мостовик допытывается.

– Лепо, лепо, – пробормотал Мостовик и кивнул Дулебу

на Никиту.

Дулеб спросил охранника, не мог бы он сказать, кто в тот день перешел через мост, да и не перешел, быть может, а перебежал, удирая, перепуганный или просто смущенный, подгоняемый нетерпением.

– Да ты кто? – любопытствовал Никита, придавая своему острому глазу выражение хитрое, вовсе не предполагавшееся в таком, казалось бы, верном воеводском слуге. Ибо не всегда, вишь, обшарпанность внешняя свидетельствует о том, что и душа у человека столь же ничтожна.

Дулеб сказал, кто они с Иваницей и какое дело возложено на них.

– На каждого, почитай, что-то возложено, – промолвил Никита, – и каждый несет свое. Ваше дело искать, а мое – стоять. А уж что там мимо меня идет, мне все равно. Лишь бы мыто платило для нашего воеводы. Да вело себя смирно. А иначе я уж покажу, что у меня есть топор...

– Так, добрый человек, – попытался как-то задобрить Никиту Дулеб, ты стоишь, и глаз у тебя зоркий. Пятницу тоже должен помнить, ибо в Киеве свершилось убийство вельми преступное, хотя, кстати, убийства все должны причисляться к преступным. Но это было слишком уж преступное. Ну так вот. Не помнишь ли – не пробегали в ту пятницу через мост два человека? Один из них должен был быть монахом, совсем еще молод, и, говорят, умен на вид, а другой – отрок из воеводской дружины, оружен, наверное, и с разбой-

ничьими глазами, а ты ведь забияк разумеешь с одного лишь взгляда.

– Монах? – Никита почесал за ухом. – Монахи не бегают через мост никогда. Они ездят, и не верхом, а на повозке. И все что-то везут в монастыри. Понавозили туда уже, почитай, столько, что и не разгребешь никогда. Может, и в ту пятницу проезжали через мост, разве вспомнишь такое.

– Разве не пишете, кто проехал? – спросил Дулеб.

Никита не понял, о чем его спрашивают.

– Пишете? А что это такое?

– Ну, заносить на пергамен всех, кто пройдет и проедет!

– Дак это же грамоту, почитай, надобно знать, а у нас в Мостище никто не знает. Сам воевода наш не смыслит в грамоте. А уж коли воевода чего-нибудь не знает, то как же можем знать мы!

– Лепо, лепо, – пробормотал Мостовик, который насупленно прислушивался к разговору Дулеба с Никитой.

– А зарубки? – вмешался другой охранник. – Забыл ты, Никита, про зарубки?

– Зарубки? – Дулеб повернулся к тому, потом снова – к Никите. – Что это?

– А вот.

Никита взял белый вербовый кол, прислоненный к поручням моста. Кол был испещрен глубокими зарубками, сделанными ножом.

– Это для нашего воеводы. Идет пеший по мосту – для

него узенькая зарубка, для конного – широкая. А для пово-
за – крестик. Наш воевода должен знать, сполна ли содрали
мыто с каждого. Ибо это же, почитай, глупые люди могут ду-
мать, будто мост поставлен, чтобы они переходили да пере-
езжали через Днепр. Мост поставлен, чтобы драть мыто для
нашего воеводы. Да для князя, да еще для кого-то, разве ж
я знаю...

– Лепо, лепо, – подтвердил воевода.

– Вот уж! – не смолчал Иваница. – Про мыто не забыва-
ешь, а на тех, кто идет, едет, имеешь дырявую голову. Тебя
же спрашивают: ехал или не ехал верхом монах в ту пятни-
цу?

– А может, и ехал, да я забыл, – сказал Никита. – Тут такое
дело, поехал – не вернется, он мне не сват, а я ему не брат.

– Так ехал или нет? – твердо спросил Дулеб.

– Сказал, забыл, – стало быть, забыл. И с разбойничьими
глазами разве тут один человек за неделю проезжает! Как
дружинник, так и забияка. А ежели едет их десять или два-
дцать, тогда десять или двадцать забияк. А только тут они
смирные у нас, потому как крикнет да как взбудоражится
наше Мостище да как прискочит наш воевода с отроками!..

– Лепо, лепо, – сказал воевода и уставился на Дулеба сво-
ими серо-зелеными усами, будто спрашивая без слов, чего
ему еще нужно на мосту.

Возвращались ни с чем.

– Корчму увидел я там, возле моста, – вздохнул Ивани-

ца, когда они уже поднялись на склон, по которому пролегал путь на Киев, – но не станешь же обедать на глазах у этого замшелого воеводы! Не мог он угостить княжьего посланца!

Дулеб молчал. Он все больше убеждался в своей непригодности к делу, которое неведомо почему поручил ему князь Изяслав.

Обедали, как уже сказано, на дубовом пеньке хлебом, да луком, да мясом, запивали простой водой из глиняного жбана. Дулеб с Иваницей молчали, потому что ничего не выездили. Кричко тоже молчал, чувствуя, что у гостей сегодня неудачный день, а будут ли когда-нибудь более счастливые дни – тоже никто не ведает.

За обедом застала их Ойка.

Появилась она в хижине неслышно, словно дух. Минуту назад они были одни, а теперь уже и она рядом с ними, в своем странном козьем меху, длинноногая, посверкивает иконными глазами, в которых мечутся чертики, супит густые брови, сросшиеся на переносице, отчего глаза кажутся еще более глубокими, а тускло-золотистые россыпи веснушек на носу и на щеках кажутся такими неожиданными, будто кто-то только что дал их девушке поносить на короткое время.

Она поздоровалась то ли со всеми сразу, то ли только с Иваницей, по крайней мере все указывало в ней на намерение говорить лишь с ним, остальных она словно бы и не замечала, они для нее не существовали, они составляли нечто похожее на старый дубовый пень, возле которого сидели. Ива-

ница сразу же повел себя сурово с нею, будто уже имел на нее нераздельное право. Как могла найти нас так быстро? Нашла, вот и все.

Они вышли, те двое остались за постной, бедной трапезой, Дулеб взглянул на Кричка, улыбнулся:

– Она оттуда, с княжьей Горы.

– Люди живут всюду, – пожал плечами Кричко. – Мой сын тоже там. Не говорил тебе, потому что не заходила об этом речь.

– Где же он там?

– А я не знаю. Где-то обретается. Железа ему мало. Игумены взяли. Еще малым.

Разговор прервался. Будто огонь, в который больше не подкладывают дров.

– Молоды, – снова нарушил молчание Дулеб, кивая на дверь, в которую вышли Иваница и Ойка.

– Ты тоже еще не стар.

– Не обо мне речь. У меня уже все позади.

– У каждого что-нибудь осталось позади. Один оглядывается туда, находит там силу или печаль, другой боится.

А те двое шли вдоль берега Почайны, осенняя трава была настороженно-холодная, она словно приготовилась уже укрыться под снегом, который мог выпасть в ближайшую ночь, потому что в Киеве снег падает всегда внезапно, выбирает для этого самое неожиданное время. Иваница топтал траву сапогами, оставляя два темных ручья следов позади

себя; Ойка шла босая, ступала осторожно, почти не прикасаясь к траве, не было после девушки никакого следа, только ее ноги краснели от холодных прикосновений, и у Иваницы щемило сердце, будто сам он шел босиком по луговой траве, прихваченной первыми осенними заморозками.

Почему ты босая? Почему у тебя нет обуви? Босая, вот и весь сказ. Разве тебе обо всем расскажешь? Можешь не рассказывать, и так знаю, что ты несчастна, хотел бы тебе помочь, все бы отдал ради того, чтобы ты стала счастливой.

Она расстегнула свой козий мех, она улыбалась уже не только глазами и губами, а, казалось, каждой своей золотистой веснушкой.

Что ты можешь? Никто ничего не может. Боярин Войтишич и тот не может. Князь попытался было прийти на помощь, где он теперь? В могиле. И вы со своим костоправом ищите следа и не можете на него напасть. Он не костоправ, он мудрый человек, творит чудеса. Чудеса – это когда воскрешают мертвых. А никто ведь не сумел еще никого воскресить, и вы не сделаете этого. И отца моего никто не сделает зрячим, потому что глаза ему выжгли ромеи. И все бегут от моего отца, мать бежала, когда меня родила; теперь вот и Кузьма бежал, одна я осталась. Не могу покинуть отца, потому что ему нет жизни без меня. Но ведь он издевается над тобой. Разве можно бросать копьё в родное дитя? Должен бросать, потому что за это Войтишич кормит его. Бросал на мать, она вот так кричала, как теперь должна кричать я; вон-

залось копье в доски перед ее лицом, проламывалось железо сквозь щели, чуть не задевая материнских глаз; я должна была ойкать за досками, едва встав на ноги, – так и прозвали меня Ойкой за это. Ненавижу отца, ненавижу воеводу Войтишича, возненавидела весь мир, а куда мне податься? Отец мой родной, бросить его не могу. Князь Игорь заманивал к себе, бегала дважды, думала – святой, а он – ничемный развратник. И все равно мне жаль его. Брат не мог простить князю то, что он ворвался в нашу семью, а я не прощу брату то, что он... А ты веришь, что твой брат убил князя? Верю? Разве я говорила, что верю? Могу знать или не знать. Уже знаю, а узнаю еще больше. Тогда помогу тебе. Ведь ты хочешь от меня помощи? Может, и еще чего-нибудь хочу, сказал Иваница и попытался положить руку на грудь. Но рука его была отброшена резким и сильным ударом, послышался короткий смех, – казалось, смеялось само злорадство; такого с Иваницей еще никогда не случалось в его многочисленных приключениях с девушками, хотя, по правде говоря, с киевлянками он никогда не имел дела, поэтому и не очень удивился, потому что, быть может, они такие же необычные, как город, в котором живут.

– Возвернешься в Киев, тогда, может, и уступлю тебе, – раздалось откуда-то из зарослей травы или со стороны Почайны, потому что, как заметил Иваница, Ойка не раскрыла уст.

– Возвернусь? Да я еще здесь и не имею намерения выез-

жать отсюда до времени...

– Уедешь, потому как должен гнаться за убийцами.

– А куда?

– Сказано будет.

– Да и кто ведает, что они убежали? Может, сидят в Киеве, прячутся.

– В Киеве не спрячешься, вы со своим лекарем спрятались?

– А мы и не пробовали. Выбрали жилище, открытое всем ветрам.

– Жилище – да. А в монастыре? Нашли вас и там.

– Ты хотела меня убить.

– Дурень! Кабы хотела – давно бы убила.

– А Дулеба? Метал же Емец копье.

– Малость попугал. А то оба вы больно уж неповоротливы.

– Хочешь видеть, какой я быстрый?

– Уже увидела. Стой тут, дальше пойду одна. Приду к вам еще.

Она исчезла так же незаметно, как и появилась.

– Вот уж! – вздохнул Иваница.

А ночью Ойка прибежала снова. Она, видимо, обладала необъяснимым чутьем, потому что в темноте безошибочно узнала среди трех спящих в хижине Кричка именно Иваницу, потихоньку толкнула его, прошептала: «Выходи-ка со мною». Он проснулся мигом, решил, что это она пришла только к нему, потянулся рукой, чтобы схватить ее и, быть

может, задержать здесь возле себя, потому что очень приятно ему было лежать под теплым мехом, а еще если бы там была девушка, то и вовсе было бы здорово! Однако Ойка и на этот раз оттолкнула его руку. «Выходи!»

Во дворе, ежась от холода, Иваница увидел рядом с Ойкой какого-то человека. В темноте он показался еще более хлипким и невзрачным, чем хитрый Никита, с которым они вели беседу на мосту.

– Ежели хотела, чтобы я тебя поцеловал, могла бы обойтись и без него, – недовольным тоном произнес Иваница.

– Будешь целовать, когда возвратнешься в Киев, говорила уже тебе.

– Зачем возвращаться? Я ведь здесь.

– Был здесь, а теперь не будешь.

– Когда же должен ехать?

– А вот человек тебе скажет.

– Ежели не соврет, так скажет.

Человек, несмотря на свой убогий вид, тотчас же обиделся:

– А зачем мне врать?! Меня просили, я передал, а там пусть хоть земля провалится.

– Кто же тебя просил?

– Брат вот ее, Кузьма, брат вот этой девки, стало быть.

– Где ты его встретил?

– Там, где люди бродят. Подальше от князей да от бояр. Бежал он с монахом острозыким, направлялись в Залес-

скую сторону, к Юрию Долгой Руке, в Суздаль, стало быть.

– Откуда ведомо тебе, что в Суздаль?

– А говорили. За язык не тянул. Сами сказали. Кузьма, стало быть, и сказал. Не сказал, стало быть, а попросил. Ты, говорит мне, все едино в Киев идешь, вот и найди в Киеве воеводу Войтишича, его там каждая собака знает, а у того Войтишича на дворе, стало быть, отец мой, то есть Кузьмин отец, Емец, дружинник есть слепой. Найдешь, говорит, и передай ему, Кузьма, мол, сын, просит прощения, искать его не нужно, потому как побежал к князю Юрию Суздальскому, а даст бог, то когда-нибудь возвернется, мол, в Киев, стало быть, со славой.

– Ты знал Кузьму раньше, что ли?

– Откуда бы мог знать? И в Киеве отродясь не был. Встретились, человек и попросил. А меня ежели кто попросит, то я... Мне что?

– И это он так вот сгоряча и выложил тебе все, как на исповеди: и кто такой, и куда путь держит? А теперь ты думаешь, тебе поверят?

– Стало быть, ты еще и не веришь? Ну и не нужно. Разве я платы от тебя хочу? Попросила девка, пришел, сказал тебе, хотя и тебя, стало быть, впервой вижу и не знаю, что ты и кто еси. Мое дело, стало быть, маленькое...

Человек повернулся и молча пошел своей дорогой.

– Эй, – тихонько позвал его Иваница, – куда же ты? Поймай, мне надобно еще спросить.

– Наспрашивался уже вдоволь, – донеслось из темноты.

Человек исчез, будто его и не было никогда, и Иваница не поверил бы в это явление, если бы не стояла рядом с ним Ойка в белом своем козьем меху, а еще хотелось верить не только в самый разговор, но и в истинность слов человека, больно уж несчастным был он на вид. А таким Иваница верил всегда.

– Так мы поедem, – сказал Иваница девушке. – Может, и ты с нами? Если найдем твоего брата, что нам с ним делать?

– Не найдешь ты его.

– Вот уж! Почему же не найду?

– Спишь много. Когда ни приду – спишь.

– Вот уж! Я тебе покажу сейчас, что не сплю!

Он снова хотел было поймать ее за руку, но она увернулась, отбежала подальше, сказала строго:

– Поезжай. А захочешь возвратиться со своим лекарем, – буду ждать.

– Хоть прикоснуться к тебе, – заканючил Иваница.

– Тогда и прикоснешься. Князьям не позволяла, а уж тебе...

Исчезла – ни слуху ни духу. Иваница вздохнул, еще немного постоял, ибо не верил, что так бессмысленно закончится его приключение с этой норовистой девушкой, но не дождался ничего и пошел будить Дулеба.

Дулеб, услышав о новости, тотчас же велел седлать коней.

– Возвращаемся к князю Изяславу без промедления.

Иваница чесал затылок в темноте, кряхтел.

– Не очень мне охота выбираться из Киева, Дулеб...

– А что мы имеем здесь несделанное?

– Ты, может, и не имеешь, а я имею. Девку оставляю такую, что грех даже сказать! Тебе-то все равно, ты к девчатам равнодушен, а у меня душа разболелась. Нигде еще такого не было.

– Болела и у меня, – вздохнул Дулеб. – Не раз болела, а приходилось все бросать и так... Да и не так, а... Бежать пришлось, Иваница. Не знаешь ты об этом, и никто не знает...

– Вот уж! – удивился Иваница и пошел готовить коней.

Кричко встал, чтобы проводить гостей. Не спросил, почему они так торопятся, не приглашал дожидаться утра. Ежели нужно людям, значит, нужно.

– Будете в Киеве, – не проезжайте мимо, – сказал на прощание. – А что возвратитесь сюда – знаю наверняка. Потому что кто единожды побывает в этом городе, не забудет его до самой смерти. Вы же молоды, до смерти далеко, люди вольные, сел на коня – да и снова в этом благословенном городе.

– Приедем, – обещал Дулеб, – не раз еще приедем, добрый человек. Вот Иваница и сейчас уже готов расседлать коня...

– Слышал, слышал, как он шептался здесь с дивчиной, да и у тебя, лекарь, все впереди.

– Трудно о том судить, есть ли у человека что-нибудь впереди, или же все у него осталось позади, – сказал Дулеб, отправляясь в путь, и была в его голосе такая нескрываемая

грусть, что ехали они с Иваницей молча и вдоль Почайны, и до самого моста, и через днепровский мост, и дальше, по княжеской дороге под кронами дубов, и все это время думалось князьему лекарю о прошлом, скрытом от всех глаз расстоянием и временем, скрытом и затаенном от всех, да только не от самого себя, не от собственной памяти.

Легко было проследить направление воспоминаний Иваницы. Они до сих пор блуждали по зеленому почайнинскому лугу, устремлялись за бесследно исчезнувшей девушкой в белом козьем меху. Зато Дулеб устремился памятью в такие немислимые дали, что об этом придется вести речь отдельно, не боясь опасности затянуть и без того длинное наше повествование.

Итак, повествование переходит на Дулеба.

Начать нужно с того, что жил человек по имени Кузьма, прозванный Дулебом. И не из-за отца, и даже не из-за деда. Быть может, только пращуры его происходили из дулебов приднестровских, но где эти дулебы – трудно сказать, потому что исчезли и предания о них, а известно ведь, как быстро исчезает все, что не оставляет следа в людских душах. Ну так вот, Кузьма получил свое прозвище не потому, что остался в нем корень дулебовский, а, наверное, из-за своего родства с тем давно исчезнувшим племенем, родство же это заключалось в загадочности. Потому что когда пошел он по людям и начал выказывать свое лекарское умение, то граничило оно с колдовством и знахарством; человек этот не мог восприни-

маться наравне с другими, его хотелось вместить во времена давно прошедшие, среди людей, самое наименование которых отдает чем-то непостижимым.

Для самого же Дулеба его умение объяснялось вельми просто. Он перенял его от матери и от бабки, а тем досталось в наследство от их матерей и бабушек; прекрасное умение лечить людей переходило в их роду от одной женщины к другой, и длилось так много поколений; быть может, продолжался ряд этот и дальше, в бесконечность, но смерть маленькой дочери, а потом рождение мальчика неожиданно прервали бесконечность женской линии; возникла угроза исчезновения их умения. Допустить этого никто не мог, поэтому маленького Кузьму начали обучать тому, к чему способны были среди них лишь женщины с их чуткостью и утонченностью.

Собственно, если подумать, то их лекарское умение относилось к простейшим. Тут все зависело не столько от трав, или там солей, или каких-нибудь чудес, как, например, сушеные жабы лапки, толченый панцирь черепахи или пояс из турьей шкуры. Все делали руки, точнее, пальцы. Известно, что кончики пальцев, быть может, самые чуткие места в человеческом теле, а женщины из рода Кузьмы обладали пальцами сверхчувствительными, и природа подарила этим женщинам пальцы особого строения, с какими-то словно бы подушечками на кончиках, и вот этими подушечками они растирали, разминали, поглаживали больные места у человека, иногда просто прикасались к больному месту или к то-

му месту, откуда хворость расходилась по всему телу, – и пропадала боль, исчезала слабость, отступала немощь, все «будто рукой снимало», да и в самом деле рукой. Маленького Кузьму научили всему: и как с первого взгляда определять характер человеческого недуга, и как улавливать пальцами хворости и выбрасывать их из человеческого тела, и как сочетать сверхъестественную чуткость пальцев с силой и выдержкой, потому что у людей неодинаковое тело: есть мягкое, как воск, есть нежно-шелковистое, есть такое, будто сырое тесто, а есть прочное, затвердевшее, будто корень или камень. Иногда на теле создаются словно бы узлы из веревок, которые лучше и не разминать, а просто рубить, отрезать, вырывать, однако нельзя нарушать целостность человеческого тела, потому что оно дается один лишь раз и создано в прекрасной замкнутости и совершенстве, от малейшей же раны становится похожим на дуплистые березы, которые весной горько плачут своим соком, или на сосну с жестокими надрезами на стволах, из которых каплет живица, или на липу, на которую женщины вешают все свои проклятия в адрес мужчин, отчего на этом дереве так много неприятных наростов.

Дулэб уже обладал лекарской славой к тому времени, когда в землях, где он странствовал среди людей, переходя от одного больного к другому, распространился слух о хворостях князя Володаря из Перемышля.

Дулэб добрался до самого Перемышля, и слава, опередив

его, залетела на княжеский двор, провела молодого лекаря к самому князю Володарю, правнуку Ярослава Мудрого, сыну отважного Ростислава Владимировича, который воевал Тмутаракань у ромеев, но был отравлен греческим катепаном, выпив вино из чаши, из которой перед ним отпил катепан, незаметно впустив потом в это вино яд из-под ногтя.

Володарь, человек уже немолодой – ему было далеко за пятьдесят лет, страдал приступами сердечной слабости, которым предшествовал тяжкий гнев; с течением времени княжеское раздражение не затихало, а еще больше усиливалось, соответственно этому усиливались и приступы сердечные, так что порой князь впадал в беспамятство. Не помогало ничто: ни травы, ни заморские лекари, ни молитвы, ни бормотание знахарей. Немошь князя все объясняли его тяжелой жизнью, но от этого Володарю не становилось легче. О своей трудной жизни он знал и без напоминаний. Помнил все. И как остались маленькими сиротами после отравления отца в далекой Тмутаракани Рюрик, Володарь и Василько. И как жили во Владимире на хлебах у князя Ярополка Изяславовича, не имея ни волостей, ни даже слуги, чтобы оседлал коня. И как получили от Всеволода Киевского червенские города, но вынуждены были биться за них, то со своими князьями, то с ляхскими. И как Святополк Киевский ослепил Володарева брата Василька, испугавшись усиления двух Ростиславовичей. Володарь и слепой Василько не покорились и два десятка лет дрались за свои земли с сыном Святополка Яро-

славом, который мутил воду во Владимире и других волостях, то удирая к польскому князю Болеславу Кривоустому, за которым была сестра его Збислава, то раскаиваясь перед Мономахом, то снова нарушая клятву и начиная раздоры.

Дулеба в княжескую грядницу сопровождали предупредительные служки, которые по дороге нашептывали юному лекарю про тяжелый нрав Володаря и еще о трудной жизни его, которая, очевидно, и послужила причиной такого крутого нрава. Но хотя Дулеб не мог похвалиться зрелостью и опытностью в делах житейских, он обладал привычкой пропускать слова мимо ушей, в особенности же когда речь шла про хворости, потому что в этом деле верил только собственным глазам и чуткости пальцев.

Поэтому когда он предстал перед князем и увидел высокого, одутловатого человека, со светлыми, словно бы даже золотистыми волосами, нездоровой краснотой на белом лице, которую не могла скрыть даже пышная густая борода, когда, взглянув на руки Володаря, сильные, короткопалые, беспокойные, готовые в любой миг схватиться за меч или вцепиться во вражескую глотку, когда услышал тяжелую одышку князя, то сразу понял, где гнездятся начала хворостей, донимающих больного.

– Разденься, княже, до пояса, – велел юноша Володарю.

Вельможи, окружавшие князя, разинули рты от такой дерзости, служки испуганно попятились, чтобы исчезнуть бесследно, как только взорвется княжеский гнев, а что он взо-

рвется, в этом никто не имел ни малейшего сомнения.

Однако произошло иначе. Князь почти весело проследил за тем, как исчезают служки, потом указал на дверь и своим вельможам.

– Вон! – коротко велел князь. Когда же вельможи замешкались, делая вид, что это «вон!» относится к кому-то другому, Володарь рывкнул на них: – Кому сказано? Вон отсюда!

Оставьте меня с лекарем с глазу на глаз!

А когда все вышли, Володарь начал срывать с себя одеяние, остался в одной сорочке, спросил мирно:

– И сорочку?

– И сорочку.

– Молод, а князя опозорить хотел? Раздевать при всех. Где такому научился?

– А нигде.

Князь снял и сорочку. Стоял голый, тело у него было белое, пухлое, безволосое, когда-то, наверное, оно было красиво своей стройностью, теперь отяжелело от жира, хотя кое-где бугрились под слоями жира тугие мышцы. Дулеб прошелся кончиками пальцев вокруг княжеской груди, затем сказал:

– Лечь бы тебе, княже, чтобы я малость размял твою грудь.

– И поможет? – не поверил Володарь.

– Увидим.

Недолго и держал князя на постели, но вогнал его в пот,

да и сам промок насквозь, потому что трудно было орудовать пальцами в залежах жира, отыскивая под ними еле теплящиеся узелки мышц, пробуждая уснувшие давно силы в груди этого старого, подкошенного непонятными для Дулеба страстями человека. Но вот задвигались мышцы, ожили связки между ними, заиграла вся грудная клетка, будто ромейский орган многоголосый, вялые удары сердца княжеского сменились сильными толчками, кровь по жилам запульсировала веселее, сильнее, будто в далекой молодости, Володарю стало легче, свободнее дышать, он дышал с наслаждением, но еще не верил, боялся поверить в такое дивное перерождение свое, спросил Дулеба:

– Неужто все это поможет?

– Увидим, – уклончиво ответил тот. – Можешь одеваться, княже.

– Ежели поможет, золотом тебя одарю. Назову приближенным лекарем своим. Что захочешь – то и отдам.

– Ничего мне не надобно. Лишь бы больной стал здоровым. Вот и все.

– А врешь ведь! – засмеялся Володарь. – Я бы тебе мог что-нибудь соврать, потому что ты еще не был в моих летах, не все знать можешь. Мои же восемнадцать хоть и миновали давно, все же помню. Много незабываемого. Ночи, звезды, девчата. Или ты и девчатам вот так же мнешь тело, как мне, будто оно и не тело, а глина, а ты не человек из крови и кости, а бог-творец?

– Девчата молоды, зачем же их лечить? – улыбнулся Дулеб.

– Будешь моим лекарем приближенным, – положил ему руку на плечо Володарь. – Будешь?

– Не знаю. Не привык сидеть на месте, лекаря ждут там, где он надобен.

– А мне и надобен. Я стал стар, и тяжело мне на сем свете жилось во все годы от рождения, да и теперь не легче. Будешь?

Дулеб смолчал, будто предчувствовал, что события примут неожиданный и зловещий оборот.

Случилось это после того, как обнаглевший Ярослав Святотопкович в который уж раз возвратился от своего родича Болеслава Кривоустого с большой военной силой и пошел на Луцк, приблизился к нему и, разъезжая вдоль валов города, выкрикивал, подобно подвойскому, чтобы открыли перед ним ворота, как перед единственным законным володарем этого, да и не только этого, города. Когда же он возвратился к своему войску, был убит из засады двумя неизвестными, которых потом называли по-разному, но все сходились на мысли, что это работа братьев Ростиславовичей, и не столько слепого Василька, сколько зрячего Володаря.

Наверное, Кривоустый был вельми опечален смертью своего давнего сообщника и брата первой своей жены, но и не только опечален, а может, и разозлен до такой степени, что готов был сам идти войной на Русь; но его вельможи очень

хорошо ведали, что за Володарем и Васильком стоит сила намного большая, по тем временам – сила неодолимая: киевский князь Владимир Мономах. Не удивительно, что не все вельможи Кривоустого поддержали князя в его намерении начать войну, многие из них отшатнулись от него, и первым в их числе был Петрок Власт, или Петр Властович, как его называли торжественнее, человек невиданного по тем временам богатства, доставшегося ему не в наследство и не как-нибудь иначе, а вследствие многолетнего разбоя, которым Петрок промышлял на море Варяжском.

Ну, так Петрок Власт, услышав о намерениях Кривоустого, не просто воспротивился их осуществлению, а взял три десятка своих вернейших людей и прискакал из Кракова в Перемышль уже как враг Кривоустого и вновь обретенный друг князя Володаря.

Он на все лады расхваливал Володаря, каждодневно преподносил ему и его дочери Марии драгоценные подарки; побродив по свету, Власт знал, как вести себя с людьми, поддобривался к князю, пошучивал над тем, что Мария вдова, ибо она в двенадцать лет была отдана в жены сыну Мономаха Роману, но тотчас же и овдовела, – слабый здоровьем Роман не вынес дыхания припятских болот и умер, едва утвердившись во Владимире, куда посадил его Мономах на место изгнанного Ярослава Святополковича.

Петрока не испортило богатство, он не забыл о своем простом происхождении, пока терся среди власть имущих, умел

стать каждому другом и братом, для каждого найти нужное слово, расположить к себе самую мрачную душу.

Прибытие Петрока в Перемышль совпало с тем временем, когда Дулеб применял свое лекарское искусство у князя Володаря, и то ли общий подъем, то ли в самом деле умение Дулеба послужило тому причиной, но князь почувствовал себя намного лучше.

Устраивались торжественные пиры, веселые гулянья, потом Володарь задумал содеять роскошные ловы в горах на медведя, и на эти ловы самым первым приглашен был Петрок Власт с его товарищами. Дулеб поехал не столько ради самой охоты, сколько ради заботы о князе. Потому что у того мог внезапно повториться сердечный приступ, а этого молодому лекарю не хотелось бы допускать, ибо привык он делать свое дело честно и старательно.

Ловы были удачными. Дружинники Власта закололи копьями вепря, стрельцы князя убили десятка полтора огненно-рыжих лисиц, которые уже оделись в ожидании зимы в роскошный пушистый мех, взяли на рогатины даже одного медведя, но Володарю всего этого казалось мало, в нем пробудилась такая молодецкая сила, что ему захотелось без посторонней помощи сразить медведя, и не простого, а из крупнейших карпатских великанов. Князь гонял и гонял коня, увлекая за собой длинный хвост свиты и Власта с его людьми, и наконец добился своего: отроки накричали на князя здоровенного рыжего медведя, но только медведь

этот оказался отчаянным трусом, не пожелавшим вступать в схватку с человеком, а бросившимся наутек. Такого позора князь не мог вынести, ни для себя, ни для медведя. Бежать, и от кого? От него, Володаря, которому принадлежит здесь все: земля, вода, люди, звери! Распалась, князь яростно погнался за жалким беглецом. Однако тот полез в такие заросли, где конь, быть может, и сумел бы пройти, но скакать – ни в какую; из-за этого князь бросил коня и с одной лишь рогастиной пошел следом за косолапым. Отроки княжьи, непривычные к таким ловам, не ведали, что им надлежит делать. Они остановились в долине и решили ждать. Не растерялся зато Петрок Власт со своими спутниками. Ведь князю в любой миг опасность угрожала от такого зверя, который мог завести человека в дебри, а там внезапно напасть. Власт бросился на помощь Володарю.

Долго ждали возвращения князя и его чужеземных приятелей, но все напрасно. Тогда бросились на поиски туда, где он исчез в погоне за зверем, но не нашли ни медведя, ни князя, ни Петрока Власта с его отчаянными спутниками. Возвращались в Перемышль без князя, а Дулеб – без своего больного.

– Где же князь? – спросила у него Мария, пятнадцатилетняя красавица-вдова, суровая не по летам и еще более суровая с юным лекарем, за то, что не присмотрел за ее отцом, хотя, собственно, в его обязанности это не входило.

– А где Петрок? – не растерялся Дулеб, намекая на их

доверчивость к бывшему разбойнику и грабителю, который, выходит, и не переставал быть разбойником, лишь сменил на короткое время свою личину.

В скором времени стало известно, что Володарь заключен при дворе Болеслава Кривоустого. Был или не был убит тогда медведь, а князя Володаря люди Власта связали ремнями и помчали через границу к его врагу.

Как только Дулеб услышал об этом, сразу же пришел к Марии.

– Пойду к князю, – сказал он ей спокойно, – он хотел назвать меня своим приближенным лекарем, я отказался, теперь сам пойду.

– Хочешь бежать? – измерила она его взглядом своих светло-голубых глаз и не пыталась скрывать презрения в голосе.

– Пойду к князю, – повторил он и вышел из палаты.

Оседлав своего коня, откормленного княжеским ячменем, Дулеб выехал из Перемышля. Он направился в сторону Кракова, одинокий, отданный на произвол стихиям и людскому коварству, а навстречу ему уже ехали к брату Володаря, слепому князю Васильку, в Теробовлю послы от Кривоустого, точнее говоря, от Петра Бластовича и везли весть о величине выкупа, назначенного за освобождение Володаря. Василько ужаснулся, услышав о том, что его любимый брат находится во вражеской неволе. Еще больше ужаснулся и возмутился он, узнав, что коварному бродяге Власту мало

всех сокровищ обоих их с Володарем княжеств: в наглости своей он жаждал невозможного, требуя руки Марий.

Дулеб, оказавшись в Кракове и узнав о намерениях Петрока, готов был повернуть коня и снова возвратиться в Перемышль, ибо только теперь почувствовал, что молодая княгиня стала для него чем-то большим, чем девушка-вдова, чем дочь князя Володаря. Однако оказалось, что в Краков можно легко въехать, но выехать оттуда дано не каждому. Власт объявил Дулеба своим пленным. Дулеб, хотя и был еще молод, обладал достаточной твердостью, чтобы ни перед кем не поступиться своей собственной свободой, а готов был лучше умереть, чем оказаться чьим-то рабом, не исключая, быть может, даже самого господ бога. Но его и не считали рабом. Наоборот, Петрок сразу же создал ему такие условия, которым позавидовал бы не только воевода, но и какой-нибудь обнищавший князек. В обязанности лекаря входил присмотр за здоровьем самого Власта и молодой боярыни, особенно же боярыни. Во всем остальном Дулеб был совершенно свободен, к тому же мог, при желании, получить доступ к драгоценным книгам Власта, которых у него было так много, что даже княжеское собрание на Вавеле не могло похвалиться таким количеством и значительностью. Опять-таки благодаря своим неисчислимым богатствам Петрок сооружал по всей Польше богатые соборы, дарил для них украшения, посуду, книги, одеяния для священников, поэтому имел среди духовенства немало близких людей, среди которых первой-

шим другом считался каноник краковский Матвей, человек высокообразованный, который с одинаковой легкостью мог вести разговоры о вещах божественных, о мире и его законах, об истории, не исключая и лекарственных знаний. С ним Дулеб проведет не один и не два года, возьмет от него так же много, как и от всего польского города над тихой Вислой, города, который чем-то будет напоминать ему через много лет Киев.

Если же говорить правду, то в Кракове Дулеб удержался два десятка лет не ради учения и щедрости Власта. Он остался там потому, что не мог оторваться от Марии.

Первые несколько лет между ними не чувствовалось ничего, кроме взаимной сдержанности, даже холода, который со стороны боярыни казался суровостью. Мария гордилась положением самой богатой в Польше женщины, была ослеплена роскошью, которой окружил ее Петрок, без памяти влюбленный в свою Белую княгиню, как он звал ее. Мария целиком отдалась во власть веселья и развлечений, которые прерывались лишь на короткое время, когда из Перемышля пришла печальная весть о смерти князя Володаря, а из Теробовли – о кончине князя Василька. В Марии еще очень много оставалось от детства: странно, однако Петрок своей заскорузлой от злодеяний душой тонко почувствовал ее детскость, быть может и затаенную, и прилагал все усилия, чтобы преждевременно не нарушить блаженное состояние, в котором пребывало это нежное, собственно, далекое от повсе-

дневной тяжелой жизни существо.

Три лета длилась осторожная игра опытного, насквозь испорченного, но внешне умело-осторожного человека с нетронутой чистотой Белой княгини. Петрок потакал всем прихотям своей юной жены, он похаживал вокруг нее, будто хищник, который на мягких лапах, втянув острые когти, осторожно подкрадывается к своей жертве. Собственно, за-таившимся хищником в отношении своей жены Власт казался, наверное, одному лишь Дулебу, для которого стало мукой пребывание возле этой женщины; но и покончить со своей мукой, сесть на коня и исчезнуть среди людей не было сил. Терзался, терпел, ждал. Чего?

Через три года брак, о принудительности которого, кажется, помнил теперь только Дулеб, дал первый плод. Мария родила Петроку сына, назвали его Святославом, из чего нетрудно догадаться, что в душе Марии жила глубоко скрытая тоска по родной земле. Петрок не стал противиться желанию любимой жены назвать первенца русским именем. Этим он лишний раз свидетельствовал о своем преклонении перед Марией, возможно также, надеялся хотя бы частично искупить свою вину насильственного, говоря откровенно, увоза молодой княгини в Польшу, о которой даже покорный хронист Болеслава Кривоустого многомудрый Талл-летописец сказал, что она отдалена от проторенных дорог паломников и знакома лишь немногим, идущим на Русь ради торговли. В дар жене Петрок на собственные средства сооружает огром-

ный трехнефный, с двумя башнями, собор во Вроцлаве, на острове Песочном. Собор украшается тимпаном, на котором под изображением Марии и сына Святослава были высечены слова: «Тебе, Мария Марии, мать матери, и сын мой Святослав». Этот божий дом был не первым и не последним из сооружаемых Петром Властовичем, с течением лет насчитывалось их свыше семидесяти. Божьи приюты, сооружаемые на награбленные средства, – все это должно было хоть чуточку смутить служителей церкви, которые принимали подарки Петрока с благодарностью и благословением, но так тогда заведено было повсюду, да и трудно, наверное, было найти в те времена богатства, добытые честным путем; честность могла разве лишь дать человеку кусок хлеба, как вот Дулебу, но и не больше.

Однако Дулеб тоже пополнил ряды людей бесчестных. Творил бесчестие в душе своей, созерцая расцветшую красоту Марии, живя с нею под одной крышей, прикасаясь к ее нежной коже (только лишь как лекарь), дыша одним с ней воздухом.

Первые три года Мария словно бы и не замечала Дулеба, а если и замечала, то только для того, чтобы сказать ему что-нибудь резкое и суровое. Он отвечал ей всегда сдержанно, но с достоинством, ни разу не уловила она в голосе Дулеба угодливости, это раздражало привыкшую к покорности и предупредительности молодую женщину, но в дальнейшем она должным образом оценила неуступчивость и холодную

вежливость молодого русича: как-никак Дулеб был для Марии напоминанием о родной земле, к тому же напоминанием не самым худшим, потому что умел сохранить достоинство перед всеми, будь то Петрок, или умудренный учением каноник Матвей, или же и сам князь Болеслав, которого старость тоже вынуждала обращаться за помощью к уемлому молодому лекарю. С течением времени она стала ловить себя на том, что спокойствие покидает ее, когда она видит этого удивительно сдержанного человека. Была ли это зависть к душевной чистоте Дулеба, желание растревожить его, дать почувствовать ему, как это трудно в семнадцать лет побывать и княжьей дочерью, и княгиней, пережить смерть мужа-князя, смерть отца, пережить позор насильственного брака и задыхаться от богатств, брошенных к твоим ногам чужим человеком, но одновременно и единственно теперь близким; то ли было это неосознанным, еще как бы детским стремлением укрыться от всех тревог мира и собственной души, а известно ведь – нет для слабой, нежной женщины более надежного убежища, чем спокойная рука мужа.

Но самым главным здесь было нечто другое, в чем Мария никогда бы не могла сознаться самой себе, разве лишь позднее, когда станет зрелой женой, опытной, мудрой и... неверной. Самым важным была их молодость, потому что из всего окружения Марии лишь Дулеб был близок ей по возрасту. Остальные, включая и самого Власта, были людьми намного старше княгини, они принадлежали к другому времени,

к другой жизни. Первоначально за развлечениями и празднествами это не ощущалось, а когда Мария стала матерью и взглянула на мир более мудрыми глазами, она ужаснулась, какие все вокруг истасканные и пустые.

Дулеб возвышался над всем своей чистотой, от мысли о которой у Марии замирало сердце.

Будучи не в состоянии изменить привычного своего поведения с лекарем, она все же осмелилась словно бы в шутку сказать ему, когда он пришел по ее вызову осмотреть маленького Святослава:

– Ты свободно берешь за руку и меня, и моего мужа, и теперь моего сына. А если бы кто-нибудь взял за руку тебя?

– Такое бывает. Мужчины, здороваясь, имеют обыкновенные пожимать друг другу руку.

– А если бы женщина?

– Такого не бывает.

– И ты сожалешь?

– Иногда.

– Ну иди. Ты свободен, лекарь.

Но не дала ему выйти, задержала у двери, и голос ее предательски задрожал, когда она промолвила:

– Забудь об этом разговоре, лекарь.

– Уже забыл, княгиня.

Он упрямо называл ее княгиней, это льстило Марии; Петроку тоже нравилось, возносило его в собственных глазах, а Дулеб тем самым словно бы подчеркивал свою незначитель-

ность. Этот странно-неожиданный разговор как бы сломал между ним и Марией неодолимую преграду, женщина должна была бы называть его не лекарем, а Дулебом, однако не решалась, достаточно было сказанного, а веление забыть все казалось запоздалым раскаянием и, собственно, призывом не забыть все, а возвратиться снова к этому, пойти дальше, не ограничиться, быть может, одними лишь словами, но и...

Со временем будут не только слова, но Дулеб более всего запомнит именно этот, казалось бы, незначительный разговор. Ибо с него, собственно, все началось уже не только для него самого, но и для них обоих.

Еще один лед должен был тронуться на Висле, пока дошло до неизбежного.

Эту ночь Дулеб не забудет до конца жизни.

Дулеб сидел за книгами, которые он взял у каноника Матвея. Книг в Кракове было много, их привозили в приданое русские, чешские и немецкие княжны; здесь были священные книги и хроники о деяниях мира, рукописи драгоценного исполнения, золотое письмо; художественные миниатюры принадлежали к подлинным сокровищам; а Дулебу в его одинокой жизни книги помогали забывать о неутолимой сердечной печали, они давали знания, которые он так охотно и запросто привык добывать еще с малых лет, перед ним проходили земли и люди, он становился свидетелем истории и обычаев, главное же – книги всегда давали необходимое ощущение времени, даже не ощущение, а, скорее, успокое-

ние от времени, потому что время может больно поразить человека, казнить его, мучить: оно то летит с неистовой скоростью, когда бы его остановить или хотя бы придержать, а то вдруг останавливается, умирает навеки; и тогда и ты умираешь вместе с ним и в нем, и нет никакой возможности нарушить эту неподвижность, выбраться из ее мертвоводья.

Дулеб так углубился в эммерамский кодекс, что ничего не слышал вокруг.

Внезапно строки кодекса засверкали словно бы ярче, будто свет свечи удвоился или утроился. Дулеб в первый миг даже не понял, что произошло, подумал что, быть может, это ему показалось от усталости, и закрыл глаза, но, когда снова посмотрел на страницу книги, ровный свет озарял не только выписанные золотом и киноварью строчки, но и весь простор вокруг Дулеба. Тогда он, крайне встревоженный, оторвался наконец от кодекса, повернул голову чуточку в сторону, взглянул через плечо.

Позади него в длинной ночной сорочке, держа в руке трехсвечник, стояла Мария. Это могло и почудиться, потому что Мария с мужем уже с месяц как уехала в Олбин, где Петрок выстроил себе двор, чтобы быть ближе к своим шленским имениям. Значит, появиться в Кракове боярыня-княгиня, казалось бы, не могла так неожиданно, без свиты, без того стука и грома, которым Власт сопровождал каждый шаг своей повелительницы. Если же и могла она по какой-то неведомой причине прибыть тихо и ночной порой, то

как отважилась одна, без сопровождения проникнуть в каморку Дулеба, – она ведь никогда не покидала своих палат без того, чтобы за нею не тянулся хвост прислужниц. А более всего удивлялся Дулеб тому, как неслышно возникла за его спиной Мария.

Растерянность от этой неожиданности у Дулеба была столь велика, что он в первую минуту не смог сделать ничего другого, как просто протянуть руку в ту сторону, где ему почудилась Мария, не надеясь ощутить там ничего, кроме пустоты, но рука его наткнулась на живое, горячее, манящее тело; сорочка, собственно, и не прикрывала его, а только вызывала то непередаваемо греховное искушение, против которого бессильна самая твердая душа.

Тогда он растерянно взглянул выше, увидел лицо Марии, увидел улыбку на ее молчаливых устах и сам тоже не произнес ни единого слова, не стал ни о чем спрашивать, не попытался убеждаться в подлинности Марии, отбросил осторожность, колебания, страх, безвольно сполз со своего стульчика, застыл у ног Марии, обхватив их руками, приник лицом к коленям женщины, готовый на все: на гнев, презрение, наказание, отвращение.

Она ничего не сказала, лишь чуточку покачнулась, ставя трехсвечник на стол с эммерамским кодексом.

Вот тогда и произошло между ними неизбежное, и уже догорали свечи, когда они опомнились и взглянули друг другу в глаза.

– Что же теперь будет? – спросил Дулеб, спросил, собственно, и не он, его честная душа хотела знать, как вести себя дальше.

Мария пожала голым плечом. Она тоже не знала, но не хотела и знать.

Ушла от него, так и не промолвив ни единого слова, могла бы и не прийти больше, и Дулеб был бы совершенно беспомощен и бессилён что-либо предпринять; однако она, видимо, не считала эту ночь между ними случайно-единственной, потому что вскоре позвала его к себе и, хотя к тому времени Петрок тоже возвратился из Олбина и мог бы в любую минуту появиться возле жены, Мария отдалась Дулебу на брачном ложе, а на его несмелые уговоры коротко бросила:

– Ничего. Любовник должен быть пугливым. Привыкай.

Им обоим были суждены долгие годы раздвоенной, затанной жизни, оба они терзались этой неискренностью, но их молодость разрушала все незримые преграды порядочности и предрассудков.

Несчастье пришло оттуда, откуда его никто и не ждал. Несчастье звалось Агнешкой. Собственно, звали ее Агнессой, потому что была она немецкого княжеского рода, но в Польше ее называли Агнешкой, подчеркивая тем самым не столько ее неизбежное ополячивание, сколько презрение местных жителей к норовистой и мстительной чужеземке, которая стала женой молодого князя польского Владислава, старшего сына Кривоустого.

Владислав женился на Агнессе почти одновременно с женьбой Петрока Власта на Марии. Новая княгиня происходила из вельможного немецкого рода Бабенбергов. Ее отцом был маркграф Австрии, матерью – дочь германского императора. Четыре предка Агнессы носили титул германского императора, а после смерти последнего из салийского дома Лотаря императором стал сводный брат Агнессы Конрад из рода Гогенштауфов. Таким образом, Агнешка имела за собой целые поколения людей чванливых, с презрением относившихся ко всему, что было ниже императоров и их родичей; она не привезла в Польшу такого большого приданого, какое привозили русские княжны, зато с избытком была наделена высокомерием и, собственно, прибыла на эту славянскую землю не столько для выполнения роли жены княжеской, сколько для того, чтобы самолично управлять землей и людом, к тому же управлять жестоко, твердо и лицемерно.

Когда после смерти Кривоустого его сын Владислав стал во главе Польской земли, для всех наступили особенно тяжкие времена.

Петра Властовича Агнешка до поры до времени не трогала: быть может, она и вовсе не хотела устранять этого вельможу, богатства которого были известны ей вельми хорошо, но не могла и отказать себе в удовольствии хотя бы чем-нибудь ощутимо донять этого человека, который при желании мог бы купить весь княжий двор вместе с нею, бабенбергской гордой княжной, но, к сожалению, не вельми богатой.

Агнешка завидовала Петроку еще и из-за его жены, которая была так же молода, как и княгиня, но намного красивее, славилась умом, сдержанностью, а главное же – целомудрием. В женское целомудрие Агнешка верить никак не могла, поэтому решила проследить жизнь Марии в сокровеннейших ее проявлениях и наконец через щедро подкупленных, а еще более запуганных прислужниц узнала о связи боярыни с лекарем.

На ловах, которые Петрок устроил для князя Владислава в своих Шленских лесах, князь словно бы невзначай, в шутку, бросил, что Петроку не следовало бы терять время на преследование зверей, потому что его жена, пользуясь длительным отсутствием своего немолодого уже мужа, изменяет ему с намного более молодым и здоровым приближенным лекарем.

Петрок, разъяренный, пораженный одной лишь мыслью о том, что слова князя могут быть правдой, воскликнул:

– Оставь мою жену в покое, потому что и твоя, когда тебя нет дома, наслаждается с немецким рыцарем!..

Дулэб тоже был на ловах, но у Петрока хватило выдержки, чтобы не учинять допроса лекарю, он лишь послал к нему отрока с велением, чтобы Дулэб не смел никуда отлучаться, а уже в Олбине, куда возвратились после охоты, поздно ночью пробралась к Дулэбу тайком прислужница Марии и передала одно лишь слово от боярыни-княгини: «Исчезай!»

Дулэб, как это он часто делал, когда ехал к своему учите-

лю Матвею, ставшему к тому времени уже епископом Кракова, сам оседлал коня и выехал в ночную беззвездность.

Быть может, Петрок и снарядил бы за ним погоню, но уже не успел, потому что Агнешка, когда Владислав передал ей наглый ответ своего вельможи, не отстала от князя, пока тот не послал людей, которые в ту же ночь схватили Петрока в его доме и отвезли во Вроцлав, где бросили в тюрьму.

Но и этого было мало для мстительной Агнешки. Ее не удовлетворило решение Владислава отнять у Петрока все богатства и выгнать его из Польши, — она добилась, чтобы вельможу отдали в руки палача, который выколол Власту глаза, отрезал язык, и лишь тогда, слепого, с окровавленным языком, безмолвного, едва живого, изгнали с земли, для которой он так много сделал, хотя, по правде говоря, путем нечестным и преступным. Любимый сын Святослав сопровождал отца в его безнадежном путешествии, а идти они должны были в ту землю, где Петрок прославился самым бесчестным своим преступлением: в Галицкую землю, к Марииному брату, князю Владимиру.

Дулеб услышал обо всем этом значительно позднее, когда затерялся между людьми навсегда, вернуться не мог, как ни мучился душою, послал весточку Марии, в надежде, что она позовет его, быть может, не столько для продления их тайной связи, сколько для помощи искалеченному мужу, которого она не бросила в труднейшую минуту, однако ответа не получил. А сам возвращаться не решался. Что-то словно

бы умерло в нем, ранило его сердце, он чувствовал себя теперь безнадежно состарившимся и подавленным, не верил, что сможет еще когда-нибудь выйти из этого состояния, старался восполнить ущербность души полнейшим самоотречением, неистово метался между тяжелобольными людьми, не брал почти никакой платы за помощь и вот в этих безнадежных, печальных своих странствиях натолкнулся сначала на Иваницу, потом стал приближенным лекарем у самого великого князя киевского Изяслава.

Жизнь представляет ценность лишь до тех пор, пока она целесообразна. Даже когда тайком целуешь чужую жену, то и тогда, получается, оправдываешь целесообразность своего существования на белом свете. Возможно, и за расследование в Киеве Дулеб взялся лишь из неосознанного стремления заполнить пустоту в душе, пустоту, образовавшуюся в ту ночь, когда он вынужден был бежать от Петрока, бежать от Марии, от своей жизни. Найдет ли он когда-нибудь полноту жизни?

Теперь Дулеб торопился к князю Изяславу, который по своему разбойничьему обыкновению жег где-то города и села в верховьях Остра и Борзны. Пробиваясь с Иваницей сквозь дождь и разливы рек, Дулеб не разрешал себе малейшей передышки, будто надеялся, что князь Изяслав, услышав об успокоительных результатах их расследования в Киеве, единственным словом снимет с Дулеба бремя последних двух лет.

Настало время повести речь про Изяслава.

В этом человеке была собрана кровь отовсюду. Известно, что у его деда Мономаха матерью была византийская принцесса, отец Мстислав происходил от дочери английского короля, мать самого Изяслава была шведкой; и вот у этого человека, по своему роду, и происхождению, и значению – русского князя, чужая кровь бурлила так неудержимо и мощно, что с момента своего рождения он не знал покоя, отличался непоседливостью, дерзостью, легко поддавался взрывам гнева, еще легче склонялся к уговорам учинить какую-нибудь несправедливость, захватить где-нибудь город или целую волость, кого-нибудь ограбить или изгнать.

Высокого роста, с шелковистыми, как у викингов, русыми густыми волосами, белотелый и белозубый, он был вельми видным, но все портили золотушные красные глаза, которые никогда не заживали, всегда болели, отпугивая от князя людей, наполняя сердца отвращением. Когда-то ворожка посоветовала князю как можно чаще смотреть на огонь, обещая исцеление для глаз; быть может, именно поэтому и любил Изяслав метаться по земле и жечь деревянные города, которые полыхали даже в пору осенних дождей и зимних выюг, – он жег и те города, которые ему не поддавались, и те, которые брал на щит со своей дружиной, и те, из которых бежали защитники, покорные и беспомощные.

Сидел обычно верхом на коне, уставившись в красное пламя; глаза его были краснее, чем обычно, горели адским ог-

нем, и горе было тому, кто, не ведая о привычках Изяслава, отважился бы в такую минуту потревожить князя.

Он легко вспыхивал гневом, еще легче переходил к раскаяниям и молитвам, мог поплакать прилюдно, размазывая слезы по щекам, и с улыбкой, еще не утерев глаз, велеть срубить голову пленному половецкому хану или непокорному смерду.

Дулеба он призвал к себе, собственно, и не для помощи в хворостях, ибо все равно глаза ему вылечить никто не мог, а приступы бешенства, которые Дулеб сумел бы хоть смягчить, князю были даже милы, как проявление его княжеского характера. Просто Изяслав любил окружать себя – чтоб подчеркнуть свою значительность – всякого рода необычными людьми: чужеземными посланниками, хиромантами и астрологами, шутами и выродками, дармоедами, брехунами, хвастунами, проходимцами. Пополнить такое сборище еще и известным во всех землях лекарем, который скрывается от мира и избегает больших городов и княжеских дворов, – разве ж от такого искушения мог отказаться этот князь, сев на золотой Киевский стол? Дулеба нашли, уговорили, заставили, препроводили.

И вот, словно бы в награждение князю за его прихоти, Дулеб оказался тем человеком, который спас Изяслава от сговора черниговских князей, собственно, от смерти, а кто же захотел бы умирать, только что став великим князем киевским и еще не покорив всех, кто по причинам, которые и

перечислять не стоит, а принимать во внимание тем более, никак не могли смириться с тем, что в Киеве, на княжеском столе, засел внук Мономаха тогда, когда еще живы были сыновья Мономаха – Вячеслав и Юрий.

Вряд ли Изяслав ждал Дулеба из Киева в скором времени. Главное послать своего человека для расследования. Главное – своевременно поплакать прилюдно, пролить слезу над убиенным князем Игорем. А там делай свое. Не до раскаяний было. Раскаяния – для времен спокойных. А для него отпущено время, дабы он покорял, мстил и наказывал за собственный страх и... за смерть Игоря, которую убийцы хотели, судя по всему, отнести на его, Изяслава, счет, чтобы поднять против него весь люд.

Вчера вечером Изяслав сжег Бохмач. Из города бежали почти все люди, услышав о приближении войск киевского князя; город стоял перед Изяславом беззащитный, захлестываемый холодным дождем, печально серел деревянными заборами среди зеленых лугов и желтолистных лесов. Такой город можно занять на время, чтобы дружина порыскала по домам и погребам, можно миновать его, не опасаясь удара в спину, однако Изяслав не стал изменять своему обычаю и велел поджечь Бохмач с четырех концов и до поздней ночи грелся у огня, отдыхал взглядом на пожарище, будто был не христианским князем, в котором смешана кровь множества королевских и княжеских родов, а диким степняком, признающим на свете лишь три стихии: солнечный зной, мерт-

вый свет луны и полыхающий костер среди полевой равнины.

Утром Изяслав велел привести к нему карликов Леп и Шлепа. Их возили за ним повсюду с того времени, когда воєвода Иван Войтишич подарил карликов князю, по своему обыкновению проклиная все на свете и клянясь, что отрывает кусок собственного сердца для любимого князя. Карликов возили в двух клетках, сколоченных из крепких дубовых кольев, и, хотя они были одинаковы ростом – не больше локтя обыкновенного человека, клетки нарочно были сделаны неодинаковые. У Леп большая, у Шлепа – почти вдвое меньше. Этим поддерживалась вечная вражда между карликами, потому что Шлеп завидовал Лепу, считая, что имеет право на такую же клетку. А Леп жил в вечном страхе, что Шлепу в самом деле удастся либо отнять у него клетку, либо добиться для себя точно такой же и тем самым сравняться с ним, Лепом, на что Шлеп из-за своего убожества и мизерной души не имел никаких оснований.

Потому-то, когда их выпускали из клеток и приводили к князю, карлики тотчас же схватывались между собой, валили друг друга в грязь, дрались до крови, до изнеможения и отчаяния, пока Изяслав, вдоволь натешившись этим зрелищем, махал рукой, чтобы Леп и Шлепа снова бросили каждого в его дубовый дом и везли дальше за княжеским походом.

Сказано уже, что сегодня утром Изяслав до завтрака велел

показать карликов. Их вытряхнули из клеток прямо перед княжеским шатром. Полы шатра были раздвинуты, и в этом укрытии вместе с Изяславом сели завтракать его братья Ростислав и Владимир, один прибыл с дружиной из Смоленска, другой из Киева. Были там еще тысяцкие Лазарь и Рагуйло из Киева, а также Иванко – от князя Вячеслава, который из страха перед своим могучим племянником посылал ему во-ев каждый раз, как только Изяслав этого требовал.

Леп и Шлеп, вытряхнутые из клеток прямо на зеленый луг, сразу же бросились друг на друга и в утешение князьям и дружинникам принялись за свое привычное дело с таким рвением, что вмиг смесили у себя под ногами траву, а потом, словно бы ожидая, пока под ногами зачавкает грязь, начали валить друг друга в нее, катались по ней, будто дикие кабанчики, тяжело дыша и кряхтя, подвывали и проклинали друг друга, скрежетали зубами, шмыгали носами, плакали от злости, что ни одному из них не дано утопить в болоте своего противника так, чтобы тот уже не смог ни подняться, ни пошевелиться. Грустное и позорное для человеческой натуры зрелище являли эти два недоростка, которым так скупно было отмерено тело, зато щедро наделены души злостью и завистью. Таких бы пожалеть или хотя бы не замечать их убожества, а не выставлять на глумление, да еще и перед глазами могущественных людей. Но что поделать, когда все это делалось по велению самого великого князя киевского, который хотел бы чуточку развлечься, потому что не знал ни-

каких радостей в жизни с тех пор, как бросился добывать себе стол сначала Переяславский, а потом Киевский. Походы, походы, походы...

А пока карлики избивали друг друга до крови и затапывали друг друга в грязь, между князьями и их воеводами снова шла речь о походах. Молодой Владимир хвастал тем, как сумел вывести из Киева, бурлящего и дико непокорного, не только своих дружинников, но еще и многих охочих, а Ростислав похвалялся, как быстро и умело сожгли его дружинники Любеч, плывя из Смоленска по Днепру на подмогу Изяславу. Ростислав только и знал, что приплывал из Смоленска на помощь своему более удачливому, чем он сам, брату и каждый раз жег Любеч.

– Диво дивное, брат, что ты жжешь-жжешь этот Любеч, а он не сгорает, – полушутя заметил Изяслав.

– Сам удивляюсь каждый раз! – вскинул бровями Ростислав, внешне очень похожий на брата, с тем лишь отличием, что глаза у него были здоровыми и он не нуждался в лечении их созерцанием пожаров, хотя любил пожары не меньше Изяслава.

– Вот уж придется киевской дружине добраться до этого Любеча, сказал тысяцкий Лазарь. – Уж мы ежели сожжем, то никто так не сожжет.

– А никто, – добавил и Рагуйло.

Тысяцкий князя Вячеслава Иванко молча жевал твердый кусок мяса и в разговор не встревал.

Изяслав заметил молчание тысяцкого, но не стал приди- раться к старому воину, который изо всех сил делал вид, что никак не разжует твердый кусок. Князь был умным челове- ком и умел обращаться с людьми, а поскольку не привык по- давлять в себе недовольство, то взглянул туда-сюда своими еще больше раскрасневшимися от созерцания пожаров гла- зами и с удивлением отметил, что за трапезой нет священ- ника.

– Где же отец Иоанн? – спросил Изяслав своего стольника Держилу, чернобородого, краснорожего, какполовец после просяного пива. – Почему не благословил трапезу? Или, мо- жет, яд изготовил для своего князя?

– Грех такое молвить, княже! – закрестился Держило. – Да мы для тебя... Жизни собственной не...

– Пошутил, пошутил, – благодушно произнес Изяслав. – А все же без отца Иоанна не привык я трапезничать. Отчего бы это он? Я уже и митрополита своего, русского назначил. Теперь должны бы быть благодарны своему князю и послуш- ны...

– А митрополит Климент уже и супротив тебя пишет по- слание, – гнежливо промолвил Ростислав. – Укоряет тебя за твои походы, за то, что подавляешь бунтующих князей. Если бы митрополитом был грек, не вмешивался бы...

– Греки мне без надобности, – отрезал Изяслав. – Или ты, может, знаешь, когда ромейские императоры помогли Киеву хотя бы одним воином? Не знаешь? И не вспомнишь, пото-

му как не было такого. Да и зачем они ему? И митрополит их ни к чему. Союзников ищу лишь таких, которые помогали бы мне. Пока Юрий доберется ко мне из своего Суздаля, а король угорский или князь польский уже тут как тут, уже со мною. И митрополит будет со мною, раз наш человек. Суть против силы и доблести никто и ничто не устоит. А разве мы не сильны и не доблестны?

– Митрополит должен был бы унять киевлян возле Софии, – сказал молодой князь Владимир. – Когда закричали со всех сторон, что надобно идти убивать князя Игоря, митрополиту надлежало бы насрать на головы этих крикунов анафему, а он только поднимал крест – вот и все.

– Потому что привык больше писать, – язвительно улыбнулся Ростислав, – любо ему философом называться. Проповедует на письме, а кто это письмо читает? Голосом нужно, криком сильным, как дружина в поле. Смотри, брат, чтоб не обвели тебя вокруг пальца твои сверхученые прислужники. Потому как и митрополит у тебя ученый, и Петр Бориславович, боярин приближенный, все науки знает и все где-то в чужих землях обитает, теперь, говорят, еще и лекаря вельми ученого взял, а в поле идешь с воинами, и славу тебе несут воины, не кто иной. Игоря ведь киевляне убили – так твои ученые и не помогли...

– Плакал я над смертью брата моего несчастного, – вздохнул Изяслав, плакал и поклялся отплатить Ольговичам, потому что верю, это их коварство, они хотели запятнать меня

убийством. Дружина моя со мною, вы, братья мои, тоже со мною. Что же касается ученых людей, брат Ростислав, знай...

Но тут прямо к княжескому шатру прискакало несколько всадников: Это были дружинники – сторожевые, а среди них – измученные длинной дорогой, промокшие до нитки, на выбившихся из сил конях Дулеб и Иваница. И в ту же самую минуту, словно бы он укрывался за шатром, зная о приближении этих вестников добра или зла, втиснулся за княжескую трапезу хилый телом, но довольно чванливый на вид, похожий чем-то на игумена Ананию княжеский священник отец Иоанн. Изяслав без восторга заметил появление отца Иоанна, мог бы и не приходить, раз не освятил начало трапезы, но, коль скоро втиснулся, быть по сему. В особенности же принимая во внимание, что Дулеб привез утешительные вести, иначе зачем ему было так торопиться.

Изяслав кивком головы велел отрокам тотчас же убрать с глаз отвратительных карликов, зная, что Дулебу невыносимо смотреть на насилие над людской породой, для лечения которой он отдает всю свою жизнь. В другой раз князь не стал бы потакать чьим-либо вкусам, но сегодня сознательно угождал Дулебу, потому что так или иначе оказался под властью этого человека. Вот он слезет с коня, подойдет к княжескому шатру, поклонится и... Может сказать слова утешительные, слова, которыми окончательно будет снята с князя страшная тяжесть, слова, которые навсегда очистят Изяслава перед людьми и перед богом. Но может ведь всякое случить-

ся. Недаром брат Ростислав только что так убедительно говорил о неприрученности и, быть может, неспособности слишком ученых людей для службы у князя, требующей преимущественно действий простых, решительных, часто жестоких. Что, если этот Дулеб, о котором князь ничего толком не знает, кроме того, что своими спокойными пальцами он умеет выгонять из тела тягчайшие болезни, что, если этот человек, который полжизни протолкался где-то в далеких краях, пренебрежет всем святым и здесь, при свидетелях, брякнет ни с того ни с сего несправедный и умышленный навет на безвинного своего хлебодавца: «Твоя вина, княже!»

Нужно ли говорить, как побледнел и без того всегда бледный князь Изяслав, как слезились его неизлечимо больные глаза, замерла рука с кубком на полпути к губам, пока Дулеб и Иваница соскакивали с коней, разминали отекавшие ноги, подходили неторопливо к князьям, молча кланялись по обычаю. А потом Иваница заметил в княжьей руке серебряный кубок с напитком и внезапно... улыбнулся. И за эту улыбку Изяслав отдал бы этому сероглазому русоволосому парню десяток не сожженных еще городов. Он встал из-за трапезы, быстро вышел навстречу Дулебу и протянул ему свой кубок: – Выпей с дороги.

А с другой стороны юркий Держило уже подал посудину с вином Иванице.

Дулеб пил медленно, смотрел пристально поверх кубка на князя, но смотрел спокойно, без осуждения, хотя и без

улыбки, как Иваница; Изяслав непроизвольно протянул руку. Держило предупредительно вставил в нее еще один кубок с вином, и, когда лекарь допил первый, князь сразу же подал ему еще. Однако Дулеб пить больше не стал, а передал кубок своему товарищу, более молодому, а следовательно, и более выносливому.

Пока Иваница пил, Дулеб молчал. И все молчали, потому что первое слово принадлежало Изяславу, великий же князь спрашивать ни о чем не хотел, потому что еще нависал над ним смертельный испуг от невероятного обвинения в том, в чем он не чувствовал себя виновным.

Наконец Дулеб заговорил:

– Возвратились мы, княже, из Киева.

И так ясно было откуда, ибо туда и были посланы.

– Нелегко нам было.

А кому теперь легко?

– Не все удалось распутать.

Никто и не просил все распутывать.

– Имею твердые доказательства, – спокойно продолжал Дулеб, глядя по очереди на всех сотрапезников Изяслава и, следовательно, обращаясь ко всем, а не к одному лишь князю киевскому. – Установил убийц, знаю имена их, не схватил лишь по той причине, что они сразу после убийства бежали, никем не замеченные и не задержанные. Следы ведут в Залесские земли, может и к князю Юрию.

– Долгая Рука, – прошептал Изяслав, возвращаясь к жиз-

ни, – я так и знал. Долгая Рука достаёт повсюду!

– Ещё нет доказательств, – осторожно напомнил Дулеб. – Одни лишь предположения да... подозрения.

Но Изяслав не слушал больше своего лекаря. Наконец, наконец молвлено то слово, которого ему не хватало все эти годы! Князь Юрий, далекий, недостижимый, неприступный, гордый и честный перед всем миром, теперь будет обесславлен, заклеямен, одно лишь слово, произнесенное только что вот этим загадочным человеком по имени Дулеб, даёт право ему, Изяславу, до конца дней своих (а ещё лучше – до конца дней врага!) биться с Юрием Долгой Рукой, дабы покарать его за то преступление в Киеве, за преступление, которое не искупить ничем, разве лишь смертью.

– Как же мне поступить, дети мои милые? – не присущим ему голосом воскликнул Изяслав, прижимая руки к груди и окидывая взглядом больных глаз братьев своих, воевод, дружинников – всех, кто был здесь рядом с ним. Пока я был озабочен делами Киева, Юрий звал Святослава Ольговича в Москву, пили там, стоваривались. За моей спиной готовилось преступное дело братоубийства, чтобы кровь Игоря упала на меня. Но бог все видит. Он не допустит, чтобы что-нибудь осталось ненаказанным. Мы пойдем на Юрия и не дадим ему покоя до тех пор, пока...

– Постой, княже, – прервал его Дулеб. – Сказано ведь тебе, что ничего не ведомо. Подумай, прежде чем начинать новую войну. Князь Юрий – родной брат твоего отца. Монома-

хов сын. Ужель поднимешь руку на род свой? Бежали убийцы к нему. Но знал ли он об этом? Может, он до сих пор ничего не знает?

– Нет, нет, – быстро промолвил Изяслав. – Не то молвишь, лекарь. Лишнее и ненужное. Сам сказал про Юрия Долгую Руку.

– Да что сказал? – удивляясь, что никто не поддерживает его, воскликнул Дулеб.

– Уже сказал, – торопливо промолвил Изяслав. – А мы слышали. Все слышали. Надобно записать. Нет моего верного боярина Петра, некому и записать. Отец Иоанн, ты разбираешься в грамоте, запиши сказанное Дулебом.

– Постой, княже, – Дулеб попытался остановить Изяслава. – Все, что я узнал про убийство, узнал от воеводы Войтишича либо с его помощью. Сам не убедился. Передал тебе услышанное.

– Войтишич служил самому Мономаху, а потом моему отцу. Это вернейший нам человек в Киеве, – обрадовался Изяслав. – Ежели сам Войтишич утверждает все, то так оно и есть.

Дулеб мог бы напомнить, что Войтишич служил не только Мономаховичам, но и Ольговичам, каждый раз переходя на сторону сильного, но речь шла сейчас не о Войтишиче и не о Изяславе, да и не о Юрии Суздальском, которого он не знал, – речь шла об истине.

– Княже, – твердо промолвил Дулеб, – не так истолковы-

ваешь мои слова. Искажаешь их.

– Нет, братец мой, – изо всех сил прикидываясь ласковым, снова приложил к груди руки Изяслав, – никак не истолковываю твоих слов. Велю записать их – вот и все. Дабы оправдаться перед детьми своими и потомками.

– Но не так называешь вещи, как надлежит. Убийц называешь убийством, а это не все едино.

– Любезный мой лекарь, заметил ли ты, что все молчат после того, как услышали от тебя, куда ведут следы убийства?

– Убийц! – крикнул Дулеб.

– Прерываешь князя, потому что утомился в дороге и выпил слишком крепкого вина. Даже мои братья-князья молчат, заметил ли ты, лекарь? А это потому, что я, Изяслав, великий князь киевский, в такую тяжкую минуту вынужден брать все на себя, и только мне суждено молвить слова, от которых зависит судьба всей земли нашей. Все слова и их истолкование надлежат мне. И все подлежит моим словам. Я называю вещи – без моих слов они не существуют. Других слов, кроме моих, не существует тоже.

– Ошибаешься, княже, – встал Дулеб. – Множество вещей существует помимо твоей воли и независимо от тебя. И прежде всего: справедливость, а еще – истина.

– Истина? А что это такое? Постой, отче, не пиши, пока лекарь не растолкует нам, что же такое – истина? Может, бог? Но бог всегда с нами, он в сердцах наших, а вне нас его нет, ибо тогда пришлось бы признать бога и для коней,

и для деревьев, как это и до сих пор еще заведено среди диких язычников, от которых, хвала нашим князьям первым, мы ушли навеки, присоединившись к миру христианскому. Ежели это так, то что же тогда, лекарь, твоя речь про истину?

– Истина – это то, что дает возможность быть справедливым в поступках. А в тяжком деле убийства Игоря все усложняется безмерно вашими княжескими раздорами. Поэтому первая потребность – установить истину, а уж только после этого обвинять окончательно того или другого. Ты велел мне начать сие дело, хотя и непривычно оно для меня и естественно моей натуре, дозвожь и закончить. Для этого отпусти меня к князю Юрию в Суздаль, где я попытаюсь найти убийц, а также узнать, кто их подговорил.

– Хочешь, дабы разрешил?

– Да.

– И не боишься Долгой Руки?

– Ради истины человек не должен ничего бояться.

– Много истин погибло незамеченными. Вельми хорошо ты ведаешь, как это происходит. Ценный ты для меня человек, лекарь. Уважаю и люблю тебя, как брата. Буду плакать неутешно, ежели постигнет тебя беда в Суздале.

– Мы с Иваницей готовы на все.

Изяслав вздохнул, слеза скатилась у него по щеке и утонула в густой мохнатой бороде.

– Что же делать мне, брат и сын мой? Ежели хочешь – поезжай. Дам в сопровождение верных людей.

– Благодарение, княже. Привыкли вдвоем с Иваницей.

– Дорога далекая, пути неведомы.

– Привык идти не по дорогам, а за орлиными гнездами. А еще: от человека к человеку. Не скажу, что мой путь всегда был праведен, но, быть может, искуплю вину, ежели удастся.

Изяслав пустил еще одну слезу в светлую варяжскую бороду, развел руками: хочешь – иди, ищи, искупай, быть может, и впрямь своего достигнешь, а может, и погибнешь. Он перекрестился, и за ним все перекрестились, кроме Дулеба и Иваницы.

Крест, как заведено, должен бы венчать все дело, однако Дулеб не хотел, чтобы князь так просто отмахнулся от него, будто от мухи, ибо в привычно-ритуальном взмахе руки была одновременно и торжественность, и пренебрежение: тебя вроде бы и благословляли на дело почетно-благородное, но вроде бы и перечеркивали в своей памяти, в самой жизни, замыкая самое имя твое в безнадежность этого холодного, равнодушного крестного знамения.

– Ведай, княже, – сказал Дулеб на прощание, – хоть и не считаешь меня больше своим слугою приближенным, ибо и верно – кто я для тебя? Но хотел бы сказать на прощание...

– Сын мой! – с чрезмерной торжественностью воскликнул Изяслав. Всегда будешь люб моему сердцу. Сам идешь, без принуждения, и тем еще дороже мне. Хочу и молюсь, чтобы возвратился. Да хранит тебя бог и мое княжеское слово, куда оно властно!

– Ну, так, – Дулеб не поддался напускной ласковости Изяслава, за которой легко угадывал бессильную раздраженность. – Ты от своего не отступишься, княже. Могу ехать или не ехать к Юрию – все едино будешь выступать супротив него, ибо стал ты против всего рода Мономаховичей – это уж ваше княжеское дело. Да не я в этом деле судья. Лекарь есмь, ведаю про хворости тела, душевные немощи тоже знакомы мне так или иначе, державные же дела посильны только властителям. Однако перед отъездом отважусь сказать тебе, княже, вот что. Бывал я среди людей малость, знакомился с миром и с книжной премудростью, хотя и не могу сравниться с тобой в опыте, учености и в знании сокрытых действий державных, которые знаешь ты не только благодаря своему княжению в своей земле, но и через разветвленные связи с властителями чужеземными. Так дозвожь, ежели так, напомнить тебе слова польского князя Владислава Германа, сказанные примерно тогда, когда ты только пришел на свет, а меня еще вовсе не было. Умирая, Владислав разделил земли между своими сыновьями Болеславом и Збигневом. Когда же вельможи спросили, кому он отдает первородство, то есть старшинство, Владислав ответил: «Мое дело разделить волости, ибо я стар и слаб, но возвысить одного сына над другим или дать им правду и мудрость может лишь бог единственный. Мое желание, чтобы вы покорялись тому из них, кто окажется справедливее другого и доблестнее при защите земли родной». Прости, княже, ежели считаешь дерзостью

повторение слов сих. Но должен ведать, что еду на дело тяжкое, может и смертельное, еду ради тебя, ради истины, ради чести земли нашей. И потому прошу тебя, княже, молись! И не за нас с Иваницей, не за себя, ибо верю в твою честность, а за землю нашу, которую ты должен любить превыше всего!

– Буду молиться! – промолвил Изяслав с такой высокой торжественностью, что отец Иоанн даже шмыгнул носом от умиления и разбавил чернила слезою, отчего слова «буду молиться» на пергамене получились искаженными: «буду мылиться».

После всего этого Дулеб мог ехать куда хотел. Он не дал себе ни малейшей передышки, не стали они с Иваницей менять и коней, ни верховых, ни для поклажи, а только покормили их. В дальнюю дорогу всегда следует брать то, во что веришь, а в своих коней они верили.

Дорогу им указывали сожженные князем Изяславом города и разграбленные княжескими дружинами села. Когда же перебрались через Сейм и углубились в древние леса, то не было у них ни позади, ни впереди ничего и никого, кроме безмолвных деревьев, обнаженных перед наступлением зимних холодов, равнодушных к человеческой судьбе, какой бы она ни была – тяжелой или привольной.

Теперь повествование неизбежно должно перейти на Юрия, в землю Суздальскую. Сказано ведь в одной вельми старинной книге так: «Се повесть велика есть, но мы, ленисти ради, от многа мало избрахом».

Князь Юрий мылся в баньке. Лежал на деревянной скамье, горячие клубы пара поднимались от раскаленных камней, на которые брызгал воду из ковшика княжеский растаптыватель сапог Вацьо. От горячего пара в груди жгло так, будто туда насыпали сухих опавших листьев; мало кто мог выдержать это. В обязанности Вацьо, собственно, и не входило высиживать вместе с князем в баньке, да еще и поливать водой раскаленные камни, первым принимая взрывы пара; от него требовалось лишь растаптывать новые сапоги для князя, большего никто и не требовал, но Вацьо полюбил баньки мерянского племени, но еще больше любил князя, а потому глотал, покряхтывая и поахивая, проклятый пар, восклицая при этом:

– Вацьо, как я попарю моего князя, никто так не попарит!

А в это время жилистый, светловолосый меря, человек, который даже имени христианского, кажется, еще не успел получить, изо всех сил стегал князя веником, и от этого веника пахло березой, дубом, можжевельником и еще чем-то хмельным. Князь помолодевшим голосом покрикивал:

– Ох и здорово! Ну-ка еще!

Но тут меря, прицелившись к княжеским ягодицам, огрел Юрия так, что тот от неожиданности перевернулся на спину, затем сел на скамье, продирая глаза, задохнувшись от боли, гнева, а более всего – от удивления.

– Ты чем меня ударил?

– Ударил, – спокойно повторил меря.

– Ты что! – схватил за плечи мерю Вацьо. – Кого бьешь? Князя бьешь, вацьо!

– Князя бьешь, – добродушно повторил меря. – Думал, не князь человек, думал. Веник для человек.

– Князя нужно знать, вацьо!

– Голый человек – голый человек. Нет князь. Есть человек или нет человек. Веник для человек. Для голый человек.

– Вот я тебе задам! – закричал растаптыватель сапог, но Юрий не дал ему расходиться:

– Оставь его, Вацьо. Он хотел как лучше. Человеком хотел меня сделать. Ибо князем может быть каждый дурак, а вот человеком...

Пока Юрий парился в баньке, его любимые слуги и отроки, всегда сопровождавшие князя, готовились к небольшому, но торжественному, как повелось, угощению. Князь не любил пировать ни с воеводами, ни с боярами, со старшей дружиной садился за трапезу лишь при крайней необходимости, а чаще всего перед глазами у него были его любимцы, ему приятно было созерцать молодые, чистые лица, на которые жизнь еще не наложила отталкивающих масок хитрости, похоти, лести и жестокости – этой дикой, противоестественной мешанины свойств, чуждых и враждебных человеку и одновременно предписанных ему неведомо за какие грехи.

И еще одна привычка была у князя Юрия: в походах, тяжелых и изнурительных, да и в кратковременных объездах своих волостей, не мог обойтись без добротной мерянской бань-

ки, для чего всегда впереди княжеского похода снаряжались умелые плотники, ставившие новую, с запахом стружки, чистую и светлую, как мед в сотах, баньку, и непременно в местах малодоступных не только для людей, но и для зверей: то на острове посредине реки или озера или в пуще, то в диком овраге, вырытом за тысячи лет неутомимым ручейком. И на этот раз баньку поставили на островке посреди реки, и, хотя речка не была глубокой и на островок князь легко добрел верхом на коне, все же видимость неприступности была соблюдена и на этот раз.

После купания князь пил лишь половецкое пиво из проса; пил охотно и много, об этом уже все знали, поэтому везли за Юрием достаточные запасы этого напитка; еще известно было, что князь ревностно следит за тем, чтобы пили и ели все, кто сидит с ним за столом, ибо, как он считал, человек искренний и правдивый должен пить и есть, не отказываясь, вместе со всеми; если же он привередничает, либо уклоняется всячески, либо и вовсе отмахивается от угощения, то у такого, по всем признакам, совесть нечиста. Здоровье здесь не принималось во внимание, ибо сказано уже, что князя Юрия окружали лишь молодые приближенные, сам он, несмотря на свои пятьдесят семь лет, считал себя, да, собственно, и чувствовал молодым, будто ему было всего лишь восемнадцать лет.

Юрий, вздрагивая от колючих ударов веника, мог бы сосредоточиться мыслью лишь на ожидании нового удара, а

мог и пересилить естество и перекинуться мыслями вдаль, вспомнить события беспокойного лета, снова и снова удивляясь загадочной смерти князя Игоря в Киеве, думать о не совсем успешных действиях сына своего Глеба, который вот уже второе лето сражается с Изяславом Киевским, помогая Святославу Ольговичу, мечась между Переяславом, Курском, Черниговом и городком Остерским.

Мог еще Юрий думать про осень, которая в этом году тоже словно бы вошла в заговор с какими-то враждебными силами. То наделала горя неожиданными наводнениями, разлились озера и реки, затопили дороги, людские поселения. То ударили морозы, вода начала покрываться льдом, но тут налетели ветры, сломали слабый еще лед, погнали воду валами, начался уже настоящий потоп, а поскольку беспричинно такая беда никогда на людей не обрушивается, то и пошла молва, будто все это – за грехи. А чьи грехи берутся в расчет? У простого человека жизнь убогая, грехов либо нет, либо же они начисто мизерные. У бояр и воевод грехи не держатся, потому что у этих людей есть достаточно силы, чтобы переложить свои грехи на кого-нибудь другого. Кто же остается? Опять-таки простой человек. А еще князь Юрий. Потому что от знатных он оторвался, к простым не примкнул, поставил себя в одиночестве между всеми, потому-то и получит то, что надлежит получить за столь странное свое поведение.

Ну, все это – неуловимость, слухи, пересуды. Обо всем

этом вряд ли и станешь думать, когда твое тело обрело какую-то невесомость, когда ты пронизан паром, сам становишься словно паром или божьим духом, и даже от жестоких ударов колючего веника уже нет боли, а как бы сплошное блаженство.

Блаженное состояние князя было нарушено довольно резко, недопустимым способом.

В баньку влетел стремянный, вскочил в кожане, в шапке, ослеп и обалдел от пара, который ударил ему в лицо, и закричал перепуганно:

– Княже, заливаает!

– Сними кожане – не будет заливаать, – посоветовал Юрий.

– Не меня – остров заливаает.

– Зачем кричишь! Не мешай мне. Вацьо, вытолкай его прочь.

Однако стремянный, которого Вацьо вытурил в спину, влетел снова:

– Княже, какие-то люди бьются через воду!

– Похлопочи, чтоб не утонули.

– А может, не подпускать к острову?

– Говорил ведь – залило остров? Вацьо, выгони этого крикуна.

Но уже знал: не дадут домыться, как хотел.

– Давай одевааться, Вацьо, – велел своему растаптывателю сапог Юрий.

Он выбежал в маленький предбанничек, оставив не на

шутку удивленного мерю с занесенным для удара веником. Переход из состояния невесомого блаженства к привычному ощущению тела происходит мгновенно, тотчас же; натянув на себя теплую чистую шерсть, накинув драгоценный мех, человек, который только что был голым, превратился в князя. Юрий быстро обул мягкие сапоги, опоясался мечом, накинул корзно, рванул дверь, которая отлетела с шумом и звоном.

– А шапку! – закричал вслед Вацьо, но его крик, отброшенный порывом ветра, до князя не донесся.

Юрий остановился во дворе. Ветер гнал прямо на него тяжелые черные облака из-за безбрежных разливов вод; тучи словно бы рождались из воды, а вода тоже похожа была на тучи и своей угрожающей чернотой, и подвижностью, ибо летели тучи на человека и вода тоже словно летела бурунами-крыльями, и было странно, что она до сих пор еще не залила этот низенький беззащитный островок с его ласковыми песками и промерзшими, испуганно-почерневшими травами.

К князю бежали его люди. Стремянный вел серую широкогрудую кобылу.

– Хочешь, чтобы меня поскорее сдуло ветром? – засмеялся Юрий. – Внизу хоть какое-нибудь затишье, а сверху вон как ревет.

Он пошел ближе к воде, где отлогий берег уже был затоплен, но куда буруны еще не доносились. В траве чавкало, и

следы от сапог князя тотчас же заливало.

– Куда же ты, княже? – чуть не заплакал стремянный, хотя такому здоровенному отроку, как он, совсем не к лицу были слезы.

– Чего испугался? Они ведь не боятся? – и князь указал на двух всадников, затерянных среди разъяренных вод, отчаянных, наверное, почти шальных в своем стремлении добраться до островка.

Зачем они здесь и что им нужно? Кто они такие? Смело двинулись по вздыбленной воде так, будто знали, что речка лишь пугает, а на самом деле она не страшна, потому что неглубока. Но ведь эти люди могли и не знать об этом. Откуда же им это должно быть известно? Может, имеют редкостно разумных коней, которые чутьем умеют находить дорогу и на сухом, и по воде, и отважно отдались этому чутью? Тогда это люди издалека, ибо в далекую дорогу человек отправляется, лишь имея доброго коня.

Как бы там ни было, но Юрий уже видел, что эти двое смогут добраться к островку, поэтому нужно было их надлежащим образом встретить, и Юрий нетерпеливо махнул рукой стремянному, чтобы тот подавал кобылу. Легко взлетел в седло, выехал на сухое, найдя пригорок, чтобы произвести на незнакомых людей надлежащее впечатление, сразу же поставив их ниже себя, потому что в этих землях никто выше стоять не может.

Юрий сидел на кобыле, по-молодому подтянутый, длин-

ные светлые волосы его метал ветер, бросал пряди на лицо, отчего князь казался совсем молодым, так что, когда незнакомые всадники выехали на сушь и встали перед этим вельможным всадником, они должны были бы принять его не за князя Юрия, а скорее за одного из его многочисленных сыновей.

Есть стихии, которые подавляют человека. К таким прежде всего относится вода. Перед князем стояли два беспомощных всадника, промокшие до нитки, на промокших, измученных конях, с двумя конями для поклажи, собственно теперь и не конями, а несчастными клячами. Однако эти люди на этих конях пробились сквозь разливы чужих вод, ведь что-то было в них, какая-то сила или страсть толкала их сюда, и дух их не поколебался и не сломился от тяжкого противоборства со стихиями, потому что старший из них, как только они подъехали к Юрию (а подъехали к нему, ибо только он один среди островитян был на коне), спросил:

– Ты князь Юрий?

– Наверное, он. Разве не похож?

– Я подумал иначе.

– Что же ты подумал?

– Подумал: это либо дурак, либо князь.

– Тешишь меня своими словами. Почему же я дурак?

– Потому что забрался в такое глухое место.

– Не привык спрашивать, куда мне забираться. Вы кто суть?

– Дозволь сначала сойти нам с коней. Потому что все твои люди пешие. Да и негоже мне так вот перед князем...

– Оставайся на коне. Ведя переговоры верхом на конях, каждый сохраняет равенство и безопасность. В любой миг можешь поехать дальше. Тут недоверие соединено с уверенностью в силе. Пеший доверчив, но и беспомощен. Когда спешиваются с коней, тогда либо прочный мир, либо безграничная покорность. А тебе к лицу больше, как вижу, смелость.

– Мне смелость ни к чему. Я – лекарь.

– Лекарь? Не звал лекаря.

– Не твой. Князя Изяслава лекарь приближенный. Дулеб мое прозвище. А это мой товарищ Иваница.

– Апостол Петр странствовал всегда со спутницей. Ты только со спутником? Ну да ладно уж. Ежели так, сидите оба верхом. Справедливее будет.

– Ты говоришь о справедливости, княже?

– Почему бы мне не говорить? Князь – тоже человек. А все люди любят справедливость.

– Для самих себя. А для других?

– Это уж кто как. О себе не буду говорить. Хвалиться не привык. А слышать обо мне ты мог мало, ежели же много, то лишь злое, раз приехал от врага.

– Он твой племянник.

– Потому и враг. Старшего брата уважал бы, терпел бы его старшинство, как было до сих пор. Изяслав сам выступил

войной супротив меня.

– Я прибыл не от него.

– От кого же?

– От собственной совести.

– Далеко она тебя загнала.

– Потребность.

– Будешь говорить здесь, на ветру, или спрячемся в укрытие?

– Боюсь, не понравятся тебе мои слова. Пусть слышит только ветер.

– Тогда говори.

– Про справедливость поминал ты, княже. А сам неправедное дело свершил.

– Назови. Ибо сам не всегда знаешь, что праведное, а что нет.

– Убил в Киеве князя Игоря.

– Сидя в Суздале?

– Не своими руками, так чужими.

– Не боишься, лекарь, своих слов?

– Иногда человеку хочется прикусить язык. Но считаю, лучше умереть с чистой совестью, чем с прикушенным языком.

– Говори смело, однако не бездумно. Ибо слышит ветер, но слышит также и бог святой. О себе молчу. Привык к наветам.

– Имею доказательства.

– Покажешь?

– Не нашел еще, но приехал сюда, чтобы обвинить тебя и искать доказательства.

– Не нашел, а уже имеешь? – Князь как бы зачерпнул рукой ветер, разжал пальцы, показал пустую ладонь. – Вот так?

– Убийцы суть сын дружинника Кузьма Емец и монах из святого Феодора, бежали к тебе. Ведомо об этом в Киеве. Под твою руку бежали – вот и твоя вина начинается.

– Под мою руку? А сколько бежало? Двое? А знаешь ли ты, лекарь, что здесь все люди – беглые? И те, кого видишь возле меня, – вот они, и остальные. И я не просто князь Юрий, сын Мономаха, внук Всеволода, правнук Ярослава, – я князь над беглыми или вольными. Вольный люд, собравшийся со всех сторон, заселил эти земли, и я, стало быть, князь над вольными, а следовательно, и сам вольный. Вольный князь – слышал ты о таком?

– В князьях не разбираюсь.

– Так знай. Не всегда берешься за лекарское дело – не помешает кое-что и знать. Или, может, хотел душу мою полечить? Но нет нужды.

– Прибыл лишь, чтоб сказать тебе про твою вину. А теперь поеду дальше – искать убийц.

– Так сразу и поедешь?

– Да.

– Где искать – знаешь?

– Буду искать.

– А поспешность твоя откуда? Иль боишься, что затопит меня? Тогда взгляни на мою бороду. Седина скажет тебе о моих летах. Много их миновало в этой земле, долгие были, нелегкие. А не затопило.

– Вот уж! – подал наконец голос Иваница, который впервые видел князя, стоявшего на таком ветру и ведшего беседу с простыми людьми, как с ровней. Такой князь не мог не нравиться. Иваница удивлялся черствости Дулеба. Уперся с этим убийством и не может увидеть, какой человек стоит перед ним!

– Оставьте своих коней да пойдете-ка лучше к столу, ибо хорошая еда и питье создают хорошее настроение, а это как раз то, чего всегда не хватает людям, – сказал князь и дал знак своим отрокам, чтобы они помогли гостям, как это заведено здесь, быстро, неназойливо, но и с надлежащей настойчивостью.

– Беру тебя, лекарь, с твоим Иваницей в полон, – засмеялся князь, когда, переодетые в сухое, оба расположились за длинным столом напротив Юрия; и снова немало удивлен был Иваница, потому что не приходилось ему еще садиться за стол с князьями – дальше бояр и воевод не пробивался.

– Задобрить нас хочешь? – все еще не поддавался Дулеб.

– А зачем? Жалость меня берет, когда вижу суетность усилий. Ты бы снова утопал в холодных водах, а там, может, выбрался бы на сухое, и куда же дальше?

– Сказал: искать убийц, укрывшихся в твоей земле. А мо-

жет, ты сам их спрятал?

– Ежели сам спрятал, лучше ведаю, где искать. Посиди возле меня, а я найду их и приведу к тебе.

– Убийц приведешь? – не поверил Дулеб.

– Ежели они здесь и ежели убийцы. Ты сам вскоре убедишься.

– А ежели выдадут тебя, твою вину?

– Почто забегать в такую даль? Прежде чем вепря жаривать, убей.

Чашник наполнил всем посудыны для питья, но не отступил назад, как заведено повсюду у князей, а встал за столом, обратился к Юрию:

– Дозволь, княже, слово молвить?

– Говори. – Князь отхлебнул пива, буднично заметив: – Сладковатое.

– Свежее, – сказал чашник так, будто не просил только что разрешения говорить нечто торжественное, а затем сразу же и начал: – Есть у меня притча про коня. Был себе князь, а у князя конь. Но не об этом коне идет речь. Потому что набежали половчане, или же еще какая сила надвинулась на землю, князь повел дружину, а тут под ним убили коня. Взял у воеводы – и того коня убили, потому как ведомо: кони беззащитнее людей, гибнут чаще.

– Что-то ты долгое начал, – бросил Юрий, отодвинув ковш. – Я вот попиваю пиво, а все другие ждут, пока ты закончишь речь...

– Речь моя скоро закончится, княже. Но будет у нее такой конец, который имеет продолжение, то есть и не заканчивается еще. Начало же известно: идет битва, а у князя и коня уже нет. И нигде нет коней. Погибли. Или же не вынесли похода, потому как очень жирные да холеные. Что же тогда? Метнулись отроки сюда-туда, глядь, а там ратай скребет свою нивку сохой, а в соху запряжен коник гнедой, хлипкий, словно бы и не конь, а лишь голова, да четыре ноги, да хвост. Делать нечего: оттолкнули ратая, чтобы не надоедал причитаниями о своей скотинке, забрали его клячу, повели к князю: садись и веди нас! Сел князь и повел. Долго ли, коротко ли длился тот поход, а только враг был разбит, княжеское войско захватило неисчислимую добычу, были там богатства, были рабы, были и кони, но князь не пересел со своего гнедка, ибо тот стал ему как брат. И вот так возвращался князь в стольный град земли своей, а там уже готовили пышную встречу: жены в золоте, в серебре, в паволоках и цветах выходили на городские валы, боярство цепляло к драгоценным мехам золотые цепи, священники надевали золотые ризы и кадили ладаном в соборах и на улицах, по которым должен был проезжать князь. Ну, все бы оно так и закончилось, как начиналось, и притча моя была бы ни к чему, да подползли к княжескому уху шептуны-сладкопевцы: и купола на церквах киевских, дескать, золотые, и ворота в городе золотые, и улицы засыпаны красным цветом, и жены выглядывают своего князя пригожие, как розы, так разве же

не должен князь появиться на белом коне, с красным седлом, золотой уздой, и чтобы челка золотая, и чепрак тоже – красный в золоте.

И забыл князь обо всем, пересел на княжеского, убранного для золотого Киева во все золотое коня, а гнедка бросил у дороги, – его привязали к обломанному дереву; никто не подбросил ему сена, и грустно посматривал конек, как его князь под напевы серебряных труб въезжает в Золотые ворота Киева, а уж что думал этот конек, того никто не знает. Потому-то и прерву здесь свою речь, и давайте выпьем за нашего князя Юрия, чтобы он никогда не сменил неказистого суздальского конька на раскормленного, украшенного золотом и серебром киевского. Здоров будь, княже Юрий!

– Здоров будь! – закричали все остальные и опрокинули всяк свой ковш; вынуждены были пить и гости, хотя к Иванице слово «вынужден» следует употребить с оговоркой, потому что ему все как-то сразу пришлось по душе: и удивительно вольные молодые дружинники князя, и их речь, даже их вид; Иваница хорошо разбирался в людях, он тотчас же понял, что князь, которого окружают такие непривычно раскованные люди, и сам, наверное, необычный, особенный князь, а ежели это так, то почему бы и не выпить за его здоровье. Что же касается лекаря, то он держался с подчеркнутой учтивостью, вот и все, что можно сказать.

Юрий свободной рукой привлек к себе чашника, обнял.

– Спасибо тебе, – промолвил он с неподдельной искрен-

ностью. – Не сменяю, ты правду сказал. Да Киев и не пришлет мне золотого коня. Ждал я не дождался, наверное, и не дождусь уже. Теперь вижу и знаю. И не сладкопевцев присылает, а с речью горькой и оскорбительно-неправдивой. Что, лекарь: сказать моим людям, зачем ты прибыл в наши края?

– Преждевременно, – спокойно ответил Дулеб, хотя трудно было здесь сохранять спокойствие: все указывало на то, что стоит князю лишь повести бровью, как обоих киевских пришельцев эти здоровые молодцы растерзают без колебания и сожаления, – такую безграничную влюбленность в Юрия можно было прочесть в их глазах, на их лицах, ощутить в каждом движении плеча, руки. Игра была смертельная, началась еще в тот день, когда отправился Дулеб, никем не посланный, к Юрию; теперь у него была единственная защита: собственная сдержанность, мужество и правда, ради которой он жертвовал даже своей жизнью. Все остальное зависело от воли Юрия. Князь тоже знал это очень хорошо и мог вдоволь поиграть с простодушным правдолюбом киевским, а игры, как явствовало из молвы, Юрий любил бесконечно.

– Придется нашего конька вводить в Золотые ворота киевские? – то ли спросил своих, то ли утверждал Юрий, а затем внезапно обратился к Дулебу: – Почто не хочешь открыть свои намерения перед всеми?

– Только умы ограниченные надеются одержать победу при стечении людей.

– А ты по апостольскому примеру считаешь, что врагов следует разбивать поодиночке?

– Не хочу считать тебя, княже, ограниченным умом.

– Но и себя не забудь.

– И себя.

– Хвала за откровенность. Ты неуступчив и жесток, как все правдолюбцы. – И снова неожиданно, без видимого перехода, ко всем: – Так, может, песню?

– А какую, вацьо? – с готовностью обратился к князю растаптыватель его сапог. – Про седло или про весло?

– Про князя Иванка.

И сам сразу же начал, а все подхватили, даже Иваница.

Гей, там, на лугах, на лугах широких,

Там же горить-сяэ терновый вогник,

Сам молод, гей, сам молод!

Сам молоденький на кониченьку,

Сам молод!

Коло вогню ходить широкий танок,

А в танку ходить княгиня Иванка,

На голівоньці сокола носить,

В правій рученьці коника водить,

В лівій рученьці гусельки носить.

Ніхто не бачив, лиш княжі слуги,

Скоро ввиділи, князю сказали.

«Ой, їдьте, їдьте, Иванка зв'яжіте,

Иванка зв'яжіте, сюди приведіте.

Соколонька пустіте до сокільниці,

Гусельки шмарте до гусельниці,
Коника вставте до кінничейки».
Соколик квилить, головоїки хоче,
Гусельки грають, Іванка споминають,
Коничок гребе, до поля хоче,
Іванко плаче, до милої хоче³.

– Вот как, лекарь, у меня и князья беглые есть, не только смерды да рабы. Не слыхивал еще про князя Ивана Берладника? Это только в песне его поймали, песня всех ловит, будто сеть. А он ускользнул и пришел в нашу землю, как ни далека она, ибо никогда не далека для человека воля. Для князей тоже.

– Служил я деду Берладника – князю Володарю. Знаю весь род их.

– Так не откажешься поехать со мною к князю Ивану? Я как раз собрался к его людям. Люблю вельми его. Ты тоже, наверное, полюбишь?

– Лекарь должен любить всех людей, не одних лишь князей.

– А ежели убийца?

– И больного убийцу на ноги буду ставить.

– Чтобы отдать под меч здоровым? Глядя щеку, откусить нос? Говорят, у франков или же у английцев закон не дозволяет карать смертью невинную девушку. Тогда, чтобы уго-

³ Подлинный текст песни из XII столетия, одной из немногих дошедших до нас.

дить закону, палач насилует девушку, часто и под виселицей. Не слышал про такое?

– Законы пишем не мы, их составляют властители мира, княже.

– Я таких не писал. Спроси моих людей, которые знают законы.

– Будет случай – спрошу.

Иваница во всем положился на Дулеба. В землях, густо заселенных людьми, он каждый раз чувствовал себя намного увереннее своего старшего товарища. Это правда, что Дулеб превосходил его опытом и знанием многих наук, простому человеку неведомых, даже по названию, зато Иваница побивал лекаря там, где речь шла о быстром сближении с людьми, в особенности же с девушками. Взять хотя бы киевскую Ойку, которая навела их на след, да и неведомо еще, куда завела. Но как бы там ни было, а все это его, Иваницы, заслуга.

А вот здесь, в окружении мужчин, где не было никаких надежд на женщин, Иваница начисто растерял свою уверенность и равнодушную готовность принимать как должное все самое лучшее, что может дать жизнь; тут он сразу был отброшен на обочину, стал серым и неприметным; быть может, его слишком поспешное увлечение князем и его людьми тоже родилось из чувства подавленности, которое человек так или иначе должен был переживать здесь из-за своего полнейшего бессилия? И как же гордился теперь, в конце ужина, Иваница своим старшим товарищем Дулебом, который сумел дер-

жаться с высоким достоинством, так, что сам князь, судя по всему, проникся уважением к нему и уж вовсе неожиданно пригласил обоих, Дулеба и Иваницу, лечь спать вместе с ним в той самой баньке, где он днем парился и где теперь пол был застлан сосновыми ветками и покрыт кожухами.

Пока они укладывались, Вацьо присвечивал факелом. Раздеваться пришлось до пояса, потому что в баньке воздух был душным, тяжелым и словно бы каким-то липким, хоть ложись и умирай. Даже Иванице, непривычному к такому спанью, стало малость не по себе, и он снова с завистью взглянул на Дулеба, который сегодня во что бы то ни стало решил выдержать все испытания, предлагаемые князем, не подавая виду, со спокойным достоинством. А сам князь, у которого на диво молодым и здоровым было тело, ничего и не заметил: ни тесноты, ни душного воздуха, ни низкого потолка, с которого изредка капала вода, возникавшая из охлажденного пара.

«Вот счастливый человек, – думал о нем Дулеб, опытным оком окидывая фигуру Юрия. – У него тело, не изменяющееся с годами, не обрастающее жиром, как у большинства людей, которые имеют возможность сытно есть и вдоволь пить. Если и смерть придет, то застанет она это тело сильным, гибким, молодо-прекрасным, таким, как оно и жило, почти таким, как родилось! Вот жизнь и счастье!»

– Чего смотришь, лекарь? – спросил князь таким голосом, будто он не пил никакого пива и не сидел несколько часов за

столом. – Хворости какие-нибудь на теле моем видишь?

– Никаких. Здоров еси, княже.

– А уже пятьдесят и семь имею! Тебе сколько?

– Четыре десятка!

– Ну, а твоему отроку, наверное, и двух десятков не наберется? засмеялся Юрий.

– Уже перевалило... – пошевелился на упругих ветках Иваница, ежась от щекочущих прикосновений кожуха. – Я уже и стареть начал возле моего лекаря. Других разминает да растирает, а мне хотя бы подзатыльник дал. Говорит, здоров.

– Не ленись, вот и не состаришься, – заметил спокойно князь, а потом, по своей привычке, внезапно спросил совсем о другом: – Никто из вас не храпит?

– А мы когда спим, не слышим, – опередил Дулеба Иваница.

– Зато я чутко сплю, да будет ведомо тебе, хлопче. Сплю как бог святой. Знаешь, за что Адама бог изгнал из рая? За то, что наш праотец храпел, как кабан, и не давал спать богу.

– Вот уж! – зачмокал Иваница почти так же, как княжий растаптыватель сапог.

– Спим! – упал князь на кожухи. Вацьо убрал факел и прикрыл с наружной стороны дверь; темнота мгновенно наполнила небольшое помещение, поглотила трех мужчин, и вскоре все они уже спали, лежа рядом на теплых кожухах, почти прикасаясь друг к другу голыми плечами, переплетаясь во сне руками и вздохами, хотя даже во сне каждый из них оста-

вался, как и днем, тот князем, тот лекарем, а тот все-таки слугой и коноводом.

Дулеб проснулся. Над ним метались красные языки факелов – один, два, три... Множество. Над факелами, под темным, остывшим за ночь потолком баньки, возвышались две фигуры в драгоценных мехах, с драгоценным оружием, видно по всему, князя, так, будто один князь Юрий сразу же превратился в двоих; но Юрий сидел на кожухе и так же, как и Дулеб, прикрывал рукою сонные глаза, недовольно ворчал на непрошенных гостей, вторгшихся так неожиданно, и они, несмотря на пышность и нарядность своих одеяний, попятнулись от него, показали отрокам, чтобы убрали факелы, кроме одного; тогда один из гостей, пониже ростом, сказал:

– Рассветает, княже. С новым днем тебя, отче.

– Здоров будь, князь Андрей, – ответил ему Юрий. – И ты, князь Ростислав, здоров будь. Не звал вас, почто пожаловали?

– Тревожные вести, княже, – сказал князь Андрей, а Ростислав, не отвечая на вопрос отца, спросил, не скрывая пренебрежения:

– А эти – кто такие?

– Гости мои, – сказал, вставая, Юрий. – Тоже принесли мне вести, и тоже плохие. Как и вы, сыночки мои. Не ведаю, кто теперь мне дороже...

Насмешка отца не задела князя Андрея, а Ростислав обиженно отодвинулся к двери, давая понять, что он может тот-

час же уехать отсюда, ежели его так принимают, и достоинства своего он не позволит унижить даже родному отцу.

– От Глеба прискакали гонцы. Изяслав захватил и сжег все города. Идет на Чернигов, – встревоженно молвил Андрей.

– Имею гонцов от самого Изяслава, – кивнул Юрий на Дулеба и сонного еще Иваницу, – их весть куда мрачнее. Коли охота, услышите. Эй, лекарь, скажи моим сыновьям, зачем ты прибыл!

Дулеб сел рядом с князем, точно так же голый до пояса, точно так же по-молодому гибкий и чистый телом, хотя за спиной у него был нелегкий многонедельный путь. Он сразу же смекнул, что прибыли сыновья князя самый старший Ростислав и второй за ним Андрей. Ростислав, бывший князь новгородский, поражал своей осанкой, был он высоким, пышным, – настоящий князь в каждом движении, в сверкании больших темных глаз; Андрей, на голову ниже Ростислава, не обладал его горделивостью, зато поражал крепостью своей фигуры, – неодолимая сила чувствовалась в его беспокойных руках, которыми он стискивал рукоять меча, в широких плечах, в крутом повороте шеи, даже в коротких курчавых волосах.

– Почему же молчишь, лекарь? – поежился от холода Юрий. – Говори, не бойся. Мои сыновья привыкли слушать и правду и неправду. На то и князья.

– А что говорить? – Дулеб улыбнулся, прикоснувшись к плечу Иваницы. Сказал тебе, княже, все. Повторяться него-

же.

– Тогда одеваться, завтракать и айда к князю Ивану, – почти весело промолвил князь Юрий, взмахом руки выпроваживая сыновей из тесной баньки, и они вышли, как и надлежало согласно установленному здесь порядку: Андрей боком, выставляя вперед широкое сильное плечо, не вышел, а выскочил так, будто за дверью его ждал супротивник и нужно было тотчас же вступать с ним в поединок; а Ростислав вышел медленно, торжественно, – правда, в низких дверях ему пришлось наклонить голову, но и это Ростислав сделал изысканно-прекрасно.

– Видал, лекарь, моих сыновей? – Князь Юрий одевался быстро и умело. – Ростиславу приличествовало быть императором ромейским, тут ему нудно. Земли хоть и много, да людей не хватает. Ему же княжить только над людьми, а не над землями. Возродилась в нем кровь всех великих предшественников наших, – вот тебе князь божьей милостью, а не силой рук своих или быстротой разума. Андрей же повторил своего деда Мономаха. И лицом такой же красивый, глаза большие, волосы рыжеватые и курчавые, лоб высокий, и ростом не вельми большой, да крепок телом и недюжинную силу имеет. Сам храбр, и войском управлять умеет, и спит мало, как дед его, и книги читает, и детей своих наставляет в том, что честь и польза князю заключается в правосудии, трудолюбии и храбрости. А у Ростислава и детей нет, – видно, бог не в состоянии создать нечто подобное и потому сде-

лал моего сына бездетным, хотя, как сказано, бог всемогущ, и нет для него невозможного ни на этом свете, ни на том.

– Понравились вельми твои сыновья мне, – сказал Дулеб, – в особенности же за то, что не похожи ни в чем на тебя.

– Благодарение, лекарь, что хоть сыновей моих к убийцам не причислил.

Дулеб чувствовал полнейшее бессилье перед этим человеком. Если бы он заметил в нем хотя бы зародыш какой-нибудь болезни, сразу же получил бы над ним власть, которую лекарь всегда имеет над немощным, но Юрий не поддавался своим летам, – видно, в жизни этого человека было либо много радостей, поднимающих дух и укрепляющих тело, либо же бесконечное множество работы, которая закаляет дух и укрепляет плоть, так что человек не ослабевает, как гнилое дерево, не идет к своему концу в болезнях и терпении, а умирает, когда должна наступить смерть, сразу же, подобно лесному дубу, сломанному бурей у самого корня.

Князь нагонял страх одним своим именем: Долгорукий. Словно бы простирал свои длинные, цепкие, загребущие руки над всеми землями, до отдаленнейших уголков, во все вмешивался, все хватал, все хотел присвоить. Хотя так о нем думали только властители: князья, бояре, воеводы. Простой люд, видимо, прозвал князя Долгоруким за щедрость, за готовность помогать человеку, за то, что раздавал милостыню, отворял княжеские житницы в голодные годы, кормил множество сирот, немощных, бездомных, несчастных, беспри-

ютных людей, в которых никогда не было недостатка в Залесских землях. Хоть так, хоть иначе, Долгорукий должен был быть сильным, решительным, может и суровым внешне, как приличествует всем тем, кто не колеблется в поступках, в особенности же в делах добрых и справедливых.

За завтраком Юрий снова пил свое просьяное пиво, князь Андрей тоже последовал примеру отца и прихлебывал янтарный напиток, запивая холодное мясо; Ростислав морщился, наблюдал, как отец и брат шумно пьют пиво, отхлебнул немного меда, нацеженного ему чашником из драгоценного серебряного жбана; видно, мед для Ростислава привозили откуда-то издалека, чуть ли не от самих ромеев, или же тут сытили его большие знатоки и долго выдерживали в старых бочках, придающих напитку тот неповторимый вкус и запах, который встретишь только среди выдержанных медов Русской земли.

Рассиживаться с утра никто не стал, – каждый из дружинников, перекусив на ходу, хлопотал возле коней; готовился в дорогу и Иваница, за столом сидели только князя и Дулеб, молча ели, потом Юрий спросил:

– На остров как добрались: вброд?

– На лодьях, – ответил Андрей, а Ростислав снова покровительственно улыбнулся на простецкий вопрос отца: разве же кто-нибудь мог допустить, чтобы он, пышный и роскошно-прекрасный князь Ростислав, барахтался в этой холодной, мутной воде?

– Нашли меня как? – допытывался Юрий.

– Язык до Киева доведет, – сказал Андрей, теперь оба княжича улыбались чуточку покровительственно, потому что как ни пробивался отец к Киеву, но не доводил его туда ни язык, ни копьё, ни меч.

– Глеб просит помощи, – повторил Андрей, – передает, что не выдержит один всю зиму.

– Зимой пошлем дружину, – спокойно промолвил Юрий.

– Откладывать негоже, – Андрей поискал глазами поддержки у Ростислава, и тот всем своим видом показывал, что согласен с братом и заранее отбрасывает все слова князя Юрия, о которых мало сказать, что они нерешительные.

– Я не бог, – подлил себе пива Юрий, – реки не смогу заморозить. Давно бы уже должна наступить зима, да медлит. Может, Изяслав умолил бога, чтобы он отрезал нас на какое-то время от Чернигова и Киева, пока там Мстиславичи жгут города.

– Пошел бы и по этой воде, – вздохнул Андрей, – пусти меня, отче, пробьюсь.

– Знаешь вельми хорошо, что не отпущу тебя. И никого не отпущу, пока дорога не установится. Много уже мы ходили туда, да все без толку. Вот Ростислава еще пошлю.

– Почему Ростислава? – подскочил Андрей.

– Взгляни-ка на него: князь из князей! Он самим своим видом нагонит страху на Мстиславичей, придут они поклоняться и целовать руку.

Ростислав и впрямь положил на стол толстую, белую, холеную руку, хоть тотчас же и целуй кто хочет.

– Я пойду, – сказал он, небрежно цедя слова, – почему бы мне не идти? Который уж год сижу без земли. Могло и надоест. Унижает мое достоинство жить такими харчами, князь Юрий. Но уж коли пойду на юг, то не сяду ни в Курске, ни в Чернигове, ни в Переяславе, а ударю на Киев! Добуду тебе золотой Киевский стол одним махом!

– Любо мне слушать такую речь, но увижу ли Киевский стол и гоже ли мне думать о том дне, сыновья мои? – вздохнул Юрий, и только Дулеб уловил в этом вздохе что-то напускное, а оба младшие князья встревожились не на шутку и почти одновременно воскликнули:

– Что с тобою, княже? Что?

– Вот, – указал Юрий на Дулеба, – посланец от Изяслава. Посол и судья. Назвал меня убийцей.

– Тебя? Убийцей? – Андрей вскочил из-за стола, взялся за меч.

Ростислав тоже пошевелинулся угрожающе, и в этом движении было куда больше угрозы, чем в намерении Андрея достать из ножен меч.

– Скажи им, лекарь, пусть знают.

– Можно и сказать, – Дулеб снова был спокоен и непроницаем. Он уже и не рад был, что встрял в это тяжелое дело, почему-то все больше и больше сомневаясь в основательности своих подозрений в отношении руки Юрия в киевском

убийстве, но эти молодые князья немного раздражали его, они вели себя так, будто за всю жизнь свою не допустили ни одной несправедливости. Поэтому Дулеб твердо и убежденно повторил сыновьям то же самое, что вчера поведал их отцу, но последствия от этого сегодня были вовсе не такие, как вчера.

Ростислав улыбнулся с презрением, Андрей метнулся туда и сюда, не глядя на Дулеба, крикнул:

– Эй, там, принесите-ка мой лук!

Отрок принес Андрею лук, князь не взял его в руки, велел отроку:

– Натяни!

Тот стоял, недоуменно посматривая на князя.

– Кому сказал! – топнул ногой Андрей.

Отрок молча попытался согнуть лук, но у него ничего не получилось.

– Позови кого-нибудь посильнее!

Тот выбежал, через минуту возвратился с дружинником, сильным, как тур, тот повозился с луком чуточку дольше, но и он ничего не мог сделать.

– Видел? – выпроваживая взмахом руки дружинников, спросил молодой князь у Дулеба. – Может, хочешь попробовать?

– А зачем это мне? Я не лучник, – пожал плечами Дулеб. – Я лекарь.

– Лекарь, а берешься за дела, чуждые для тебя.

– Истина не может быть чуждой для человека.

– Ну так вот, – Андрей легко согнул лук, натянул тетиву, – взгляни, какой у меня лук. Вот тут тебе и истина. Повезу тебя во Владимир, привяжем к воротам и расстреляем из этого лука. За неправду. За поклеп. За...

– Ничего этим не добьешься, – спокойно молвил Дулеб. – Я сказал свои слова. Они уже услышаны, они уже никуда не денутся. Это все едино, что написал бы слова эти на своих ладонях, чтобы люди узнали даже после моей смерти. Должен бы ты знать силу слов, княже.

– А откуда ты знаешь, что я должен, а что нет?

– Князь Юрий сказал мне, что ты любишь книги. А что такое книги? Слова. Может, и жизнь людская – тоже одни лишь слова. И неведомо, что чем порождается: слова ли делами, дела ли словами. Еще забыл я добавить, что не послан я князем Изяславом, не посол я ничей, сам поехал, подталкиваемый лишь собственной совестью. Если бы обнаружилось, что виноват князь Изяслав, ну и что же? Доказательств еще не имею. Ведомо лишь мне, что бежали убийцы сюда, сказано даже: к князю Юрию.

– Знаешь их? – впервые подал голос Ростислав.

– Никого не видел, потому что не киевлянин я, да и мой Иваница тоже не из Киева. Знаем, кто они, как зовутся. Один Кузьма Емец, сын старого дружинника Войтишича.

– Войтишич славный воин, – степенно подбросил Ростислав, – его сюда впутывать не годится.

– Не впутываю, говорю лишь, что отец этого беглого Кузьмы – старый дружинник Войтишича, слепой Емец. Живет при дворе у воеводы, человек, судя по всему, почтительный, а сын не пошел в отца. Другой же – монах, привратник из монастыря святого Феодора. Открыл ворота перед убийцами, повел их к князю Игорю, сам убивал. Бежал вместе с Кузьмой Емцом. Зовется Сильвестром или просто Силькой.

– Ну! – князь Андрей швырнул свой лук, сел за стол напротив Дулеба, подпер щеки кулаками, уставился в лекаря своими большими глазами, в которых полыхал гнев. – Повтори, как звался тот отрок и как звался монах.

– Кузьма и Сильвестр. Сильвестр еще вельми ученый. Вел записи монастырские, у игумена Анании считался самым способным послушником.

– Вот вранье, – уже спокойно промолвил князь Андрей. – Либо ты сам врешь, лекарь, либо тебя ввели в заблуждение недобрые какие-то люди. Князь, – обратился он к Юрию, – этот монашек у меня во Владимире. Уже вот два месяца.

– Ежели он у тебя, – засмеялся Юрий, – то лгуны мы с тобой, а не лекарь. Получается, знал человек, зачем забивается в такую даль. Хвалю, лекарь. Ибо наполовину правда – уже правда. Прости моему сыну его несдержанность, горячий нрав имеет. Соединил в себе гордость Мономаха и половецкий огонь. Эй, там, вынесите-ка отсюда лук князя Андрея! Теперь тут ничто не должно напоминать о словах, молвленных в запале и гневе. Ты же, лекарь, выбирай: будем

сидеть здесь, ожидая, пока приведут сюда беглого монашка киевского для расспросов твоих, или же поедешь со мною, как согласился вчера, к князю Ивану, а монашка тем временем доставят туда, а может хочешь прямо в Суздаль, то поезжай, а я в скором времени тоже там буду.

– Делай как знаешь, – ответил Дулеб, – единственное хотел бы: расспрашивать монашка при тебе.

– Это мой человек, я никому не отдам его! – топнул ногой князь Андрей.

Юрий взглянул на сына прищуренным глазом:

– Поучись у брата своего Ростислава княжескому достоинству. Знаешь монашка своего два месяца, а ставишь за него свою честь.

– Ты знаешь лекаря день лишь единственный, а хочешь поставить выше своих сыновей и выше самого себя, – вскипел Андрей.

– Не его хочу поставить, – правду. Она и без того стоит над нами, что бы мы ни чинили. Высший суд нашим деяниям и мыслям, сыне. Если твой монашек в самом деле убийца...

– Не убийца он! Такой не может стать убийцей!

– Откуда ведомо тебе?

– Книжный человек вельми.

– А разве за книги не убивали людей?

– Убивали, да не те, кто писал книги. Это люди смиренные и мирные. Они ближе всех к богу. Лишь благодаря им, написавшим книги, люду стали известны многие истины. Так

назовешь ли злодеем того, кто пишет книги? Такие люди не могут убивать. Слова не убивают, только меч.

– Справедливо, брат, – добавил Ростислав с вершины своей покровительственной насмешливости, – в отношении меча справедливо молвил, ибо князю лучше дружину с мечом иметь, чем монахов с писалами. Даже хороший повар дороже книгописца.

– Доставим этого монашка сюда и спросим его тут, лекарь, – решил Юрий. – Пошли, князь Андрей, гонца, пусть приведет сюда твоего книгописца.

– И будем изнывать в этой грязи? – брезгливо поморщился Ростислав.

– Тебя не задерживаем. Поезжай в Суздаль, готовь дружину к походу. Как ударят морозы, так и с богом! А нам надобно здесь.

– Не дам своего монашка, – твердо повторил князь Андрей. – Ты, княже Юрий, не ценишь таких людей, знаю. А зря. Потомкам не будет дела ни до твоих дум, ни до намерений высоких. Будут знать о тебе по тому, что останется. А что останется? Написанное. Испокон веков так ведется.

– Дела останутся, забыл ты, сын.

– Дела исчезнут и быльем зарастут. Всемирный потоп не смыл с лица земли книг. Человечество может вымереть, книги переживут. Написанное останется. Вот ты сидишь в сей земле пятьдесят лет, сколько городов поставил, скольких людей пригрел, сколько добра сделал. А приезжает человек из

Киева, и человек не темный, ученый, лекарь, и что? Не ведает ни о каких твоих добрых и славных делах, а называет тебя убийцей. Был бы возле тебя верный летописец, он бы проследил каждый твой малейший поступок, и ты поставил бы сего лекаря перед пергаменом, пусть бы почитал.

– Дел не так много у князя, чтобы он сам их не способен был записать. Учил я всех вас, сыны мои, не родились вы лишь князьями, родились для великих трудов, и уж ежели ты князь, то будь им, во всем и до конца! Умей обращаться с мечом и с веслом, с конем и писалом. Иначе что же ты за князь! Вспомните деда вашего Мономаха. Вспомните Всеволода, Ярослава.

– Кто сам пишет о себе, лишь затемняет суть и свой образ. Постоянное писание отрывает тебя от забот о судьбе земли и люда. Одновременно нельзя пренебречь написанным, потому что оно способно сделать нас либо призраками, либо всемогущими.

– Вместо слов молвленных, а пуще того – писанных, достаточно хорошего намерения, – похлебывая пиво, спокойно заметил Юрий.

– Вот и получай за свои добрые намерения! Изяслав убил Игоря и тебя же обвинил в этом.

– Это не Изяслав, это я! – твердо промолвил Дулеб, о котором словно и забыли в разгар спора между отцом и сыном.

– Все едино, – отмахнулся от него Андрей, – они там в Киеве готовы отнять у нас все: и достоинство наше, и лучших

людей наших, и богатства наши, и свободы, и самую жизнь нашу. Все мы умрем когда-нибудь, и никто не узнает о великих трудах наших в этой великой и часто неласковой к человеку земле. Так почему бы я должен был не приграть такого умелого человека в писании, как монашек Силька?! И не поверю никогда, что он мог учинить злодеяние. И не отдам никому. Уже назвал его своим приближенным летописцем.

– Напоминаю тебе, что сам можешь записывать все достойное внимания и памяти, ибо ежели ты поставлен выше всех на земле, то и судить обо всем надлежит тебе первому. – Юрий и дальше не поддавался запалу, с которым вел спор князь Андрей. Казалось, этого человека ничто не может вывести из равновесия, поколебать его убежденность и веру в себя. – Почему ты думаешь, будто какой-то беглый монашек киевский сможет лучше тебя самого описать все содеянное тобою? Отец мой, а твой дед, великий Мономах, восемьдесят раз ходил в походы и не ждал, что кто-то все это опишет, сам был грамотен, сам брался за перо, возил с собою книги и пергамен.

– А написал ли про убийство половецких ханов, которые сдались на его милость и которым обещал сохранить жизнь? – жестко спросил князь Андрей, в котором, видно, заговорила половецкая кровь его матери. – Или о позорном поражении возле Триполя, где утонул князь Ростислав, – об этом написал Мономах? И что когда-нибудь напишут об этом другие – знаешь, княже?

– Не нужно об этом, – тихо промолвил Долгорукий, – про Триполь Мономах не мог без слез вспоминать до самой смерти. Не помнил восьмидесяти своих побед, а страдал от единственного поражения, ибо считал, что это по его вине утонул его любимый брат Ростислав. Выиграть восемьдесят битв, а одну проиграть и потерять любимого брата? Зачем тогда все? Великую боль носил в сердце своем Мономах, и не следовало бы тебе, сын мой, вспоминать об этом деле. Мертвые для нас все одинаково близки, неважно – умер человек день назад или тысячу лет. Всех должны видеть и понимать. Для живых все доступно: дела, слова, успехи, поражения, слава, позор. Мы рассматриваем дела умерших, ничто не скрывается от нас, так будем же справедливыми прежде всего!

– Вот и хочу, чтобы не судили о нас потомки, как им захочется, сам проследить все записи хочу и поставить записи эти в соответствие с нашими деяниями, – сказал Андрей. – Для этого нужен человек умелый и посторонний. Сила посторонняя – всегда сильнее тебя самого. А кому не хочется подчинить себе то, чем не владеешь сам? Если бы Мономах не только писал свои поучения, но и проследил, что летописцы скажут про все деяния его, разве говорили бы мы с тобою, отче, про убийство половецких ханов, которое так и останется темным, а то и позорным.

– Довольно об этом убийстве, княже. Может, хоть меня не станешь обвинять в убийствах?

– Я – нет. А другие? Как тебя прозвали? Долгой Рукой.

– Ты же знаешь, за что и кто назвал.

– Ну так, а теперь сей лекарь. Кем назвал тебя? Благодарителем? Ангелом? Вершителем воли божьей на земле?

– Дозволь, княже, вмешаться в разговор ваш, хотя и негоже простому человеку это делать, – обратился к Юрию Дулеб.

– Хочешь стать на мою сторону? Но меня можно защищать от кого угодно, кроме моих сыновей.

– Нет, хочу выступить также против тебя.

– Уже выступил. С тобою тоже никто не потягается. Назвал меня убийцей, не спросил, велел ли я убить хотя бы одного человека за всю жизнь, или, может, не хочешь расспрашивать того монашка, не надеясь на подтверждение?

– Я хотел о другом. Про книги и тех, кто их пишет, и про властителей держав, то есть про таких, как ты, княже. Книги – это разум народа, то есть движение вперед; власть же являет собой порядок в державе, то есть неподвижность, устойчивость. Пока эти две великие силы разделены, они взаимно выправляют друг друга и друг другу противодействуют, тогда также в народном бытии сохраняется необходимое равновесие. Но когда эти обе силы сливаются, вступают в сговор, то неизбежным следствием такого сговора будет угнетение в державных действиях и раболепство в книжном. Потому-то ты неправ, княже, когда отрицаешь пользу от умелых книгописцев. Но не можем признать правды также и за князем, который хочет купить себе книгописца, поставить себе

на службу, забыв о его независимости, которая может быть лишь тогда, когда он служит не кому-нибудь одному, а целому народу, державе, то есть истине. Летописец должен сидеть не в княжеском тереме, а в келье, подальше от мира, в стороне от страстей и стычек, и писать с сердцем спокойным и разумом не омраченным корыстью и нечистыми помыслами.

– У летописцев есть страшнейшее оружие, – бросил князь Андрей, замалчивание. Будто бы и не было тебя, и не был ты и ничего не сделал. Мы не можем сидеть и ждать, кто про нас когда-то там что-то там напишет с непомраченным умом и невозмутимым сердцем. Так они напишут потом о сыновьях и внуках Мономаха, что они не содеяли ничего достойного упоминания. А кто может это проверить? Поверят написанному.

– Ну и что? – вздохнул Юрий. – Так пишут всегда и про всех. Да это еще не причина, чтобы сидеть сложа руки. Нужно украшать землю, строить города, наводить порядок в державе, сделать свою державу единой, как тело людское, а не разорванной на лоскуты.

– Города! – засмеялся Андрей. – Камни молчат. И все на свете молчит. Молвят лишь книги. Надеяться на великодушные потомков – больно уж велика роскошь. Их суждения вызываются то ленью, то непониманием, то враждебностью. Если есть случай и возможность самому проследить записывание деяний своих, то почему я должен пренебречь этим? Может, с этого и начинается подлинное величие княжеское,

отче.

– Жизнь никогда не начинается с величия, сын мой, зато ее можно величием закончить. А с монашком поступим так. Отправимся все в Суздаль, там поставишь перед нами своего монашка, лекарь пускай спрашивает у него, что нужно, на том и делу конец. А теперь в путь!

– Давно бы так, – вздохнул истосковавшийся Ростислав, – а то я уж испугался, что придется и ночевать в этой баньке на грязных кожах.

– Ночуй или не ночуй, все едино киевляне про суздальцев говорят, что они кожахми воняют, – засмеялся Юрий.

– Суздальцы, да не князя.

– А мы князя суздальские, стало быть суздальцы.

Они вышли на берег, и теперь уже Дулеб целиком был в руках суздальцев, ибо не было рядом ни Иваницы, ни коней; его посадили с князем в самую большую лодью с красным княжеским парусом на мачте, и лодья отплыла от острова.

Князь Юрий усадил Дулеба рядом с собой на скамье; князь проникся если и не полнейшим еще доверием к этому страннодобровольному служителю истины, то по крайней мере стал уважать его, как узнал, что Дулеб не просто прибыл от наглого Изяслава для несправедливых обвинений, а подчиняясь голосу совести и некоторым указаниям на следы, подтверждением чему был монашек, которого так яростно защищал князь Андрей.

– Не стал бы я раздражать сына Андрея, – доверчиво про-

молвил Дулебу Юрий, – я-то бы еще рассказал сказочку про того бога, который изобрел письмо. Он и не бог был, а полубог, покровитель купцов и воров, которым подарил счет и игру в карты. Для людей же приготовил умение писать, пошел к царю той земли и похвалился своим новым искусством. На что царь ответил ему: «Великий изобретатель! Дело одних людей изобретать то или иное искусство или умение, другим же людям надлежит знание о том, что несет людям это умение: благо или несчастье. Ты утверждаешь, что умение писать делает народ мудрее и благороднее. А я тебе скажу, что искусство письма, наоборот, внесет в души тех, кто постигнет его, забвение, ибо, возлагая надежды на могущество письма и память других, они не станут ничего удерживать в своей памяти, и вот окажется, что изобрел ты не целебное средство для божественной памяти, а никудышное умение записывать, и прославишь мудростью не настоящих мудрецов, а буквоедов и книгоедов». Не книгами и письмом нужно бороться с забвением, лекарь! О нет! Смотри на эту землю. Долго и тяжело будем плыть, и смотри пристально. Не увидишь того, что видел далеко не юге. Тут все иначе. Не думай также, что нам не любо все киевское. Еще дитятей вывезли меня оттуда, но вынес именно из тех краев тягу к травам, деревьям, птицам, зверью, небесным светилам, утрам прозрачным и вечерам в солнечном огне, к тихим снегам, к голосам, цветам всего сущего. Не забуду никогда того дива земли теплой и погожей, но и без этой могучей земли теперь

не прожил бы. Взгляни, лекарь, увидишь ли еще где-нибудь такое на свете!

Они плыли несколько дней то по широким, взвихренным разливам вод, то по узким лесным речкам, тяжелые холодные туманы залегали над посеребренными инеем травами, безжалостно холодное небо накальвалось на колюче-черные сосновые боры, которым никто не ведал конца, да и этой земле никто не ведал конца, по крайней мере северные ее рубежи терялись в неприступных для человека холодах и вечных льдах.

– Смотри, лекарь, – чуть ли не с юношеским восторгом обращался к сдержанному Дулебу князь Юрий, – это единственная беспредельная земля на свете. В ней затеряется, утонет, исчезнет, пропадет все, каким бы великим оно ни было, ее нельзя ни завоевать, ни покорить, ни купить, она достойна лишь одного: объединения. Кто это может сделать? Бог не сумел, он разъединил людей, разбросал их во все концы. А сможет ли человек слабый и смертный совершить это великое дело? Даже если этот человек князь.

Дулеб молчал, и князь Юрий, который сам бы не смог объяснить причины своей откровенности и даже растроганности перед этим спокойным человеком, малость пожалел, что беспричинно начал раскрывать свою душу. А может, и не беспричинно? Прибыл этот человек из Киева, привез такое обвинение князю, а не ведает того, что этот князь при воспоминании о Киеве становится ребенком, малым отроком,

который не может забыть теплых ночей над Днепром, неба ласкового, будто материнские глаза, отцовских слез радости, которые каждый раз проливал Мономах, возвращаясь к своим детям.

Но к лицу ли великому князю такие воспоминания? И поймет ли этот человек, что земля не может быть разобщенной, не должна быть разобщенной, точно так же как нельзя разорвать надвое человеческую душу, переполовинить сердце, оставив одну его частицу в сладких и незабываемых краях детства, а другую забросить в суровую даль холодной зрелости.

Дулэб чувствовал себя вельми плохо. Так было с ним разве лишь в Кракове, когда ел Петроков хлеб и обманывал комита с его женой. Но тогда все оправдывалось его любовью к Марии, они оба горели высоким огнем, который дается человеку в молодости и в котором нужно гореть, ибо это жизнь. А тут? Что отстаивал Дулэб в противовес этому странному человеку, который легко переходит от насмешливости к исповеди, раскрывает сокровеннейшие, святейшие свои намерения перед незнакомым, перед врагом, собственно, вступает в не совсем приятный спор с родным сыном при нежелательном свидетеле, да еще и допускает этого постороннего свидетеля в их княжеский разговор, внимательно выслушивает, старается доказать свою правоту не грозным окриком, не угрозами, а рассудительным словом.

К такому бы князю в сообщники, в помощники, в верные

слуги, а он к нему – с тяжелейшим обвинением. Да и кто он? Какой из него сообщник и помощник? Что он умеет? Лечить людей? Но ведь они все равно умирают, еще не родился тот, кто мог бы спасти от всех хворостей, а смерть одолеть не дано никому до скончания века.

Князь Юрий, видимо почувствовав, как терзается в душе Дулеб, начал спрашивать его о лекарстве, о болезнях. Откуда берутся? Чем объяснить, что люди живут на той самой земле, под тем самым солнцем, под теми самыми дождями и снегами, а у каждого есть своя хворость или нет никакой, как вот у него, у князя Юрия, хотя дожил уже до высоких лет. А вот сын Святослав одержим злой хворостью от рождения. Ярослав, которого назвал в честь Ярослава Мудрого, – слабоумен, Борис тих душой и слаб телом, не способен носить меч...

Дулеб не мог ему объяснить. Лечил – и все. Умел увидеть болезнь. Но откуда она и почему? Кто его знает? Это так же, как спрашивают без ответа в священных книгах: есть ли у дождя отец? Кто рождает капли росы? Откуда появляется лед и иней небесный в воздухе – кто его родит? Правда, кое-кто склонен объяснять хворости и здоровье соответствующим влиянием планет. Теплота, холод, влажность и сухость суть составные части человеческой природы, они зависят от небесных светил и изменяются от их положения. Потому-то и судьба всего живого обусловлена и определена небесными телами и их движением. Тепло и влага обуславливают жизнь

и плодovitость, ибо из них все развивается, через них соединяется между собой и укрепляется, а холод и сухость приносят вред, смерть и оцепенение, от них все сохнет и пропадает.

Так плыли они по мутным рекам, которые по неведомым причинам не покрывались льдом всю зиму. Перед самым Суздадем пересели на коней, чтобы согреться и въехать в город торжественно-бодрыми, как и надлежит великому князю с его сыновьями и дружиной, пусть небольшой, зато отборной.

Вырвались из лесов, очутившись на волнистой равнине залесского ополья, чем-то похожего на прикиевское поле Перепетово; может, и выбрали место для города первые беглецы из Киева, пораженные сходством этой земли с родными местами, из которых выгнала их привередливая судьба.

К городу подъезжали уже ночью. Ночь была лунная, морозная, земля сверкала в серебристом воздухе, темные леса беззвучно расступились, выпустили из себя тихую речку Каменку, похожую чем-то то ли на киевскую Лыбидь, а может, на Почайну, а может, еще на какую-нибудь речку из киевской, переяславской, черниговской земли; волнистая равнина мягко переходила за речкой в отлогие, ласковые холмы, которые тоже напоминали словно бы киевские горы, только уменьшенные, и город на этих холмах тоже напоминал Киев своими валами и церквами и длинными лунными тенями от церквей, но Киев уменьшенный, какой-то ненастоящий, иг-

рушечный, хотя, как и в Киеве, все здесь было белое, светлое, тихое, прекрасное. И Дулеб почувствовал, как тужил этот бородатый, высокий человек, ехавший рядом с ним на буланой княжеской кобыле, по далекому Киеву, как старался перенести он на эти холмы образ вечного славянского города, как помогали ему все простые люди, в особенности же те, у кого душа рвалась на оставленные земли предков. Пятьдесят лет провел Юрий на этих землях, дитятей вырванный из краев, где родился, где впервые увидел Днепр и Десну, где, сидя в княжеском возке, слушал шелест дубовых листьев и смотрел на теплые звезды в синем небе. Пятьдесят лет! Страшно подумать. Семь сыновей и две дочери родились у Юрия. Умерла жена, маленькая половецкая хатуна из ханского рода Осенева, умер в прошлом году, идя на помощь Святославу Олеговичу, сын Иван. Это смерти недавние, близкие, чуть ли не вчерашние, а смерть Мономаха? Все сыновья тогда съехались в Киев, чтобы захоронить останки Мономаха в Софии рядом с Всеволодом и Ярославом; Юрий приехал из отдаленнейшей дали. А смерть его матери, княгини Евфимии, женщины простого рода, которую Мономах взял после смерти своей первой жены Гиты, дочери английского короля. Мономаху не могли простить женитьбы на Евфимии, бывшей незнатного рода, ни князья, ни бояре; даже игумены и монастырские летописцы отнеслись к ней с высокомерием, забыв, что перед богом все равны. Рожденная в Киеве, она дожила там свой век, и сын Юрий похоронил ее в церкви Спаса на

Берестове, после чего снова должен был отправляться в свои далекие края. Однажды он попытался приблизиться к Киеву хотя бы краешком, выменяв у старшего своего брата Ярополка, когда тот сидел в Киеве великим князем, за часть Ростово-Суздальских земель Переяслав и закрепившись в Остерском Городке, заложенном когда-то еще Мономахом. Однако при Всеволоде Ольговиче этот договор был упразднен, племянник Изяслав тоже не хотел допускать Долгорукого в Переяслав, выгнал оттуда его сыновей, чинил несправедливость за несправедливостью; Юрий, видно, тяжело переживал это, потому-то и посылал сыновей своих на юг, ибо сколько же может сидеть здесь, за лесами и реками, человек, рожденный там, в тепле и ласковости, рожденный, быть может, для великого дела, осуществить которое никогда не поздно?

...Каждый раз, когда ему приходилось приближаться к незнакомому городу, Дулеб переживал двойное чувство. Утомленное дальней дорогой и невзгодами тело жаждало отдыха; он невольно думал об уюте, огне, вкусном ужине, теплой постели, а одновременно с этими обыкновенными желаниями в душе маячило предостережение: там гнездился страх перед неизвестным, невольно хотелось, чтобы этот незнакомый город как можно дальше не приближался, чтобы к нему еще ехать и ехать, чтобы стлался путь коню под ноги еще долго-предолго, чтобы были еще какие-нибудь приключения на дороге, милые сердцу неожиданности, люди, птицы, деревья. Эту раздвоенность чувствовал он и теперь, ко-

гда их небольшая свита приближалась к Суздалю. Темные высокие валы суздальские возникли перед ним из волнистой, покрытой вечерней мглой равнины, тяжелые высокие ворота, наглухо закрытые, напомнили Дулебу лук князя Андрея и угрозу молодого князя, которую тот мог осуществить в любое время. Иваница вплотную подъехал к Дулебу, когда всадники столпились перед воротами, прошептал:

– Вот уж! И не думал, что в этих лесах может быть такой город.

Кто-то из людей Юрия застучал в ворота, с заборола крикнули:

– Кто там?

– Князь Юрий с сыновьями! Отворяйте живее!

Ворота громко заскрипели, медленно расползлись их створки, создав узкий проход, в отверстии появился всадник, весь в железе, со щитом и копьем, всмотрелся в прибывших, узнал князя Юрия, поклонился:

– Здоров будь, княже!

И отступил в сторону, пропуская мимо себя князя с сыновьями и их сопровождение. Несколько всадников помчались вперед, видно затем, чтобы известить кого следует о прибытии Долгорукого, сам Юрий ехал медленно, подняв вверх лицо, будто вслушивался в звуки своего Суздаля, впитывал его запахи, купался в лунном сиянии, которое здесь было особенно щедрым и плотным, так, будто собрали его со всех концов и бросили тугими снопьями между валами города,

на его белые церкви, на светлые деревянные дома, на княжеский двор, просторный, открытый для всех взоров, с бесчисленным множеством строений, иногда настолько причудливых, что человек непосвященный ни за что не мог понять их назначение.

Перед воротами княжеского двора Юрия с сыновьями встречал тысяцкий Суздаля Гюргий Шимонович. Гюргия еще Владимир Мономах поставил пестовать своего сына Юрия и отправил его с маленьким князем в Суздаль, где они с тех пор и вели жизнь: один – великий князь, другой – его правая рука, его верный слуга, советчик, его замена и все что угодно.

Гюргию было уже около семидесяти лет, но годы не отразились на этом высоком человеке, не согнули его широких плеч, может, не очень посеребрили сединой и светло-русую бороду, хотя этого в темноте Дулеб и не мог разглядеть. Удивило его вельми то, что тысяцкий держался с сугубо княжеским достоинством. Он не поклонился ни сыновьям Юрия, ни самому великому князю, не замечалось заискиваний в его движениях, наоборот, все в нем было наполнено торжественностью, степенностью и чувством собственного достоинства. Он стоял в воротах, положив руку на круглую рукоять меча, спросил как-то по-отечески:

– Как съездил, княже?

На что Юрий без обиды, спокойно, казалось даже, вроде послушно ответил:

– Съездились, может, и неплохо, да только не доехал, куда хотел.

– В другой раз доедешь, – успокоил его тысяцкий, и трудно было понять, в шутку ли он говорит это или всерьез, и только после этого поздравили по-настоящему: – С возвращением тебя и твоих сыновей, княже, ибо возвращение – это всегда счастье и праздник для тебя и для нас.

– Ужин для всех, – коротко велел Юрий, въезжая во двор. – С нами гость из Киева, отец.

– Знаю, – сказал тысяцкий. – Гонец был, сказал. Веление твое, княже, исполнил. Из Владимира доставил того человека.

– Сам приедет, – вмешался князь Андрей, который уже проехал было мимо тысяцкого, а теперь придержал коня. – Не пустят ваших людей во Владимир, послал своего человека. Сильвестру сказано быть здесь, и он будет без никого. К моим людям не позволю применять насилие.

– Воля великого князя, – напомнил тысяцкий.

– Знаю, и князь Юрий знает.

– Из почтения к велениям великого князя следовало бы того человека стеречь как надлежит, – тысяцкий шел за князем.

– Великому князю суждены одни лишь неудобства от его высокого положения, о почтении помолчим, – заговорил князь Юрий. – Давай ужинать, отец, и не будем портить себе ночь этим беглым монашком, потому что лекарь и так уже

испортил мне несколько дней. И еще, видно, испортит немало дней. Верно, лекарь?

– Не знаю, – сказал Дулеб. – Истина требует иногда от человека вещей неожиданных, а то и вовсе невозможных, справедливость точно так же. Знаю лишь одну силу, которая навсегда определила свои требования ко всему сущему, что дает возможность соответственно относиться к тем требованиям, принимая их или отвергая. Догадываешься уже, княже, что сила эта – бог. Я же обыкновенный человек, ничего божьего в себе не имею. Так что же я могу тебе наперед сказать?

Для каждого, кто входил в сени княжеских палат, кто-то невидимый из тайных глубин помещения посылал каждый раз небывалой красоты девушку с серебряным рукомомем, так что даже невозмутимый Дулеб зачарованно переводил взгляд с одного личика на другое, а уж про Иваницу и говорить нечего. Парень просто голову потерял от такого чуда. Тут были высокие, гордые мерянки, сверкавшие северной красотой, чистотой, словно первые снега, были нежные болгарки из-за Волги, огнистоглазые и утонченно-умелые в обращении с вещами, не обошлось без половчанок, гибких, будто зеленый хмель, а над всеми сверкали сероглазой красотой суздальчанки, глаза которых впитали спокойную красоту северного неба, озаряли лицо, царили над ним, были самым лицом, ибо замечал ты лишь эти глаза, а больше ничего.

И за столом, за который сели все, утомленные и изголо-

давшиеся киевские гости сначала не замечали ни яств, ни напитков, ибо и там прислуживали пирующим только девчата. Еще более красивые, чем те, что были с рукомоями, еще более редкостной и необычайной стати, более же всего удивляло Дулеба то, что ни князя, ни их люди не обращали внимания на красавиц, они словно бы и не замечали их вовсе, — видно, это относилось к обычаям суздальского княжеского дома, может, велось так всегда. Хорошо это или плохо? В киевских пересудах про Долгорукого намекалось недвусмысленно и на суздальский разврат, и вот эти прислужницы, казалось бы, должны утвердить Дулеба в этом убеждении, однако он сам, не зная почему, склонен был видеть здесь лишь чистоту, целомудрие и неомраченную красоту, к которой человеческая душа никогда не может быть равнодушна.

Что же касается Иваницы, то этот избалованный женским вниманием и благосклонностью парень, привыкший к таинственности в этих делах, был потрясен, ошарашен, растерян до предела, еще там, в сенях, показалось ему, что это для него выставили сразу столько молодых и прекрасных суздальчанок, чтобы выбирал, которая понравится более всего, или чтобы кто-нибудь из них выбрал его, потому что он — самый молодой и пригожий, к тому же еще он прибыл из далекого Киева, который должен был бы светить своими золотыми соборами этим заброшенным за безбрежные леса людям, даже в их снах. Однако девчата не торопились выбирать Иваницу, они оставили его без внимания там, в сенях, не

обращали внимания и здесь, за столом, хотя сюда входили и другие, новые и новые девчата, угощая всех, кто сидел за столом, не выделяя даже самого великого князя Юрия, а не только какого-то там безымянного отрока киевского.

Достоинством удивления было еще и то, что старый тысяцкий Гюргий стоял в конце стола, не садился, не собирался ни есть, ни пить, одновременно будучи здесь старшим не только над слугами, но и над князем, потому что сам Долгорукий почтительно обратился к нему за разрешением начать трапезу.

Тысяцкий склонил в знак согласия голову, кивнул чашнику. Тот встал и тоже спросил не у Юрия, а у тысяцкого:

– Дозволишь, отец, сказать слово?

– Скажешь.

Чашник, принимая из рук то одной, то другой прислуги жбаны с питьем, с надлежащим умением и знанием разлил напитки каждому по вкусу и принялся рассказывать новую свою притчу, ясное дело, снова про коня и про князя:

– Жил на воле дикий конь-тарпан и бегал так быстро, что даже травы не успевали склониться у него под копытами, однако никогда не мог тарпан превзойти в быстроте оленя, бегавшего еще быстрее, и тогда конь пришел к человеку и сказал: «Помоги мне». – «А как помогу тебе? – спросил человек. – Ведь у тебя четыре ноги, а у меня лишь две». – «Сядь на меня, – сказал конь, – и вложи удила мне в губы и помоги догнать оленя».

Человек так и сделал. Сел на коня, вложил ему в рот железные удила, и конь догнал оленя.

Не забывай, княже, что мы твои кони, не бойся вкладывать удила нам в уста и будь всегда здоров, княже!

– Будь здоров, княже! – крикнули все.

– Будь!

– Будь! – крикнул и князь Андрей.

Только Ростислав, которому не вельми была по вкусу такая, по его мнению, слишком простецкая похвальба, не подал голоса, прикрыв серебряным кубком пренебрежительную улыбку.

Иваница же, огорченный невниманием суздальчанок и воспользовавшись веселым криком, поднявшимся за столом, попытался было ущипнуть одну из девчат, сделал это, как ему показалось, с такой ловкостью, что и сама девушка не заметила, чья это рука прикоснулась к ней, однако от всевидящего глаза князя Андрея ничто не могло укрыться, он замечал все и, когда выпил за здоровье своего отца, наклонился к Дулебу:

– Знай, лекарь, что мы часто с дружиной и с женами веселимся, но ни вино, ни жены нами никогда не овладевают до беспамятства. Вели своему человеку, чтобы не распускал рук.

– Он волен услышать это не только от меня, но и от князя.

– Лекарь, – заговорил Долгорукий, видно заприметив, что между Дулебом и князем Андреем завязывается новая стыч-

ка, – будь веселее за столом, у нас не любят хмурых людей. Хмурым никогда не верим.

Дулеб улыбнулся.

– Вот так! – воскликнул Юрий. – Налейте-ка лекарю суздальского нашего меду!

– Я улыбнулся, вспомнив слова одного святого человека, – сказал Дулеб.

– Такие слова всегда поучительны, – с вызовом, показавшимся неуместным и ему самому, промолвил князь Андрей.

– Что же сказал святой человек? – вяло поинтересовался Ростислав, который изнывал от тоски за столом, еще только сев за него, и не скрывал ни от кого своей тоски.

– Сказал, что тот, кто занимается лишь разглагольствованиями, скаканием и ржанием, уподобляется жеребцу.

– Это не наш святой, – засмеялся Юрий. – Ибо почему бы он должен был так пренебрежительно относиться – не говорю уже к человеку – к жеребцу! А ну, чашник, не найдется ли у тебя чего-нибудь про жеребца?

– Про суздальского? – охотно вскочил чашник.

– Про суздальского!

– Притча такая. Да и не притча это, а быль. Продал один наш боярин, а кто – не скажу, боярину киевскому, а какому – тоже не скажу, ибо не бояре суть важны здесь, – продал, стало быть, наш боярин боярину киевскому буланого суздальского жеребца.

– Того, от которого моя кобыла? – прищурил глаза Юрий.

– Может, и того. Ну, продал, и отвели жеребца в дальнюю даль, за Днепр, на сочные да сладкие травы, слаще которых, говорят, нет в целом свете. Это так говорят, а я не знаю, ибо конем не был, если стану когда-нибудь, то, может, и попробую, тогда и другим скажу, какие это травы. Ага. Вот и стал пастись этот наш жеребец на тех травах да лакомиться, а уж где жеребец, то там и кобылица, ибо для того же и жеребец, чтобы возле него кобылицы были, а тут еще и жеребец, купленный для известной работы, без которой перевелось бы все конское племя. Так. Долго ли, коротко ли все это было, с весны началось, а там и зима, и снега, и занесло наш залесский край снегами так, что и птица не пролетит. Но вдруг заржало, затопало возле боярского двора, застонала земля, ударили копытами в дубовые ворота. Выбежал боярин, взглянул: его жеребец! Пробился сквозь снега, оброс длинной гривой, одичал и разъярился, а дорогу домой нашел, сбежал со сладких пастбищ, да только бежал не в одиночестве, а заманил с собой сотню, а то и целую тысячу киевских кобылиц – может, вывел с той земли всех боярских кобылиц, уже и неведомо, что он там им наворковал в уши на своем конском языке, а только отважились они пойти в другую землю, послушно следуя за своим повелителем. Вот каким был суздальский жеребец!

- Да и еще ведь есть такие? – весело спросил князь Юрий.
- Сколько хочешь, княже.
- Есть, да и еще будут!

Они сидели долго, встали из-за стола оживленные, веселые, даже Ростислав малость расшевелился и согнал с лица кислую усмешку. Дулеб пошутил, что перестает уже быть лекарем, ибо стал чревоугодником, а Иваница нетерпеливо выжидал, когда освободится от пристальных княжеских глаз и пойдет спать, куда ему укажут, следуя за одной из тех девиц, которые будут нести свечу сквозь длинные темные переходы; чем длиннее будут переходы, тем больше вероятности, что по дороге может случиться что-нибудь приятное.

Снова распорядился всем темнолицый Гюргий – тысяцкий, который, когда была убрана половина свечей, в полутьме казался живой окаменелостью, и если бы кто-нибудь сказал, что живет этот человек на земле уже девятьсот лет, подобно библейскому праотцу, то вряд ли кто-нибудь стал бы против этого возражать.

– Тебе, княже, приготовлены кони, – сказал тысяцкий Долгорукому.

– Поедем со мной, – обратился Юрий к Дулебу и Иванице. – Здесь оставаться не хочу. Спрячу вас в Кидекше.

– А что это такое – Кидекша? – отважился спросить Иваница, будучи не в состоянии подавить свое разочарование. Снова куда-то ехать, бросать тепло, уют, бросать этих белолицых, глазастых, тонкостанных! Зачем и ради чего?

– Кидекша – село над Нерлью, а в нем – двор мой. Там спокойнее и надежнее. Спрячу вас там. Ибо исчезновение ваше для меня и нежелательно и невыгодно. Вы исчезнете,

а обвинение останется. А зачем оно мне? Сам ты выдумал, лекарь, обвинение, сам и снять должен.

– Верись, что сниму? – взглянул на князя Дулеб.

– Не верю, а знаю. Мы с тобой в этом деле равны. Ты никогда не видел монашка, и я тоже не видел. Равно как и сына дружинника.

Ехали в темноте молча. Кони шли легко и охотно, дорога показалась короткой – еще не успели оставить за собой суздальские ворота, как забелели на высоком берегу над тихой речкой каменные строения, видно по всему – еще и не законченные, не огороженные валами, ничем не защищенные, но если присмотреться вблизи, то довольно неприступные сами по себе: толстые могучие стены, высоко от земли узенькие окошки-бойницы, непробиваемость и непроницаемость, будто в лице слепого.

Не сказал бы Дулеб, что ему хотелось провести ночь (да и как знать, одну лишь только ночь!) в таком месте; немного успокаивало присутствие князя Юрия, которое могло обернуться и к лучшему, и к худшему тоже. Еще более мрачным предчувствием наполнилось его сердце, когда подъехали они к каменному княжескому жилищу. Здесь не было торжественных приветствий, не выходил навстречу тысяцкий или княжеский тиун, коней отпроводили те, кто ехал с ними да с князем, тяжелые, кованые железом двери открыли чьи-то невидимые руки, в просторных сенях не было ни одной живой души, лишь горели толстые восковые свечи, го-

рели каким-то красным огнем, пуская поверх заостренного пламени черные хвосты дыма, которые плотными свитками двигались в темном пространстве над головами тех, кои вошли, угнетая их своей тяжестью.

И вдруг метнулось из тихой темноты что-то белое, взмахнуло странными, цвета светлой меди волосами, крикнуло: «Отец!» – уже повисло на шее у князя Юрия, а он неумело расставил руки, наклонился, стоял неуклюже и растерянно, так, словно боялся уронить на землю это белое существо, чтобы оно не разбилось, будто хрупкое заморское стекло.

«Отец!» – крикнуло оно еще раз, и засмеялось, и закрыло бородатое лицо Юрия своими медными волосами, такими мягкими и ласковыми, что Дулеб даже на расстоянии почувствовал их мягкость и ласковость, про Иваницу же лучше умолчать, ибо что здесь скажешь!

Тогда Юрий, опомнившись, легко поднял девочку, поставил ее между собою и Дулебом, сказал:

– Дочь моя. Княжна Ольга. Должна бы спать уже, да не спит. А это, Ольга, лекарь из Киева, Дулеб.

Дулеб поклонился.

– А это Иваница.

– Вот уж! – вздохнул Иваница, не зная, куда спрятать свои руки, такие ловкие и умелые всегда, когда приходилось иметь дело с девчатами, и вовсе ненужные сейчас, перед этой тоненькой девочкой в наброшенной на плечи белой шубейке, мягкой и пушистой, с невиданными светло-золотистыми

волосами и пронизательными детскими глазами, перед которыми чувствовал себя совершенно безоружным и словно бы нагим, что ли.

– Ты приехал, чтобы взять меня с собой? – спросила Ольга голосом ломким по-детски, но уже с подлинно женским оттенком привередливости. – Ты же не был у князя Ивана. Возвратился, чтобы взять меня с собой?

– Не доехал. Да и не знаю, выберусь ли теперь. Есть дела, которые не могут ждать.

– Ты поедешь и возьмешь меня с собой.

– Где Евфимия? – спросил Юрий.

– Я здесь, княже.

Из темноты выступила еще одна девушка, чуточку старше Ольги, такая же высокая и тонкая, но чернявая, малость даже суровая с виду. Она поцеловала князя в щеку, Юрий обнял ее.

– Вторая моя дочь, княгиня Евфимия, весной обручена в Москве с князем Олегом Святославовичем. Живу здесь с дочерьми. Сыновья сами собой распоряжаются. Уже взрослые. А князь стар. Вот так, лекарь, живем мы. А теперь будем спать. Доброй ночи.

– Доброй тебе ночи, княже. Удивляюсь не тому, что у тебя много детей, а что такие они все неодинаковые.

– А как думаешь: лучше это или хуже?

– Наверное, лучше. Потому что на свете ничего одинакового нет и не должно быть.

– С детьми не так это. Хочется, чтобы все были одинаковы. Одинаково мудры, одинаково счастливы. Ну, да бог все делает по-своему. Вас проводят.

Князь хлопнул в ладоши, но Ольга схватила ближайший трехсвечник, очертила светлый полукруг между темнотой, из которой должен был показаться кто-то из слуг, и киевскими гостями, сказала отважно и словно бы с вызовом:

– Я провожу!

– Негоже, сестра, – заметила Евфимия, которая, наверное, давно уже привыкла к положению княгини и была здесь, в этом недостроенном, одиноком пристанище Юрия, хозяйкой.

– А почему? – удивилась Ольга. – Княже, разве в этом есть что-нибудь плохое?

Юрий с улыбкой махнул рукой неведомо кому: то ли дочери своей, то ли слугам, которые должны были появиться, а может, и стояли здесь в неосвещенном углу gridницы.

– Пошли, – позвала княжна Дулеба и Иваницу и пошла впереди, гибкая и юркая, в белом одеянии, легко и умело неся тяжелый трехсвечник.

– Может, я понесу? – вырвался вперед Иваница. – А то ведь тяжело...

– Сама сумею. Ты очень неуклюж для свечей. Дохнешь и погасишь.

Иваница отстал, пристыженный и растерянный, потому что ему впервые в жизни пришлось разговаривать с княж-

ной.

- Вот уж! – огорченно вздохнул он.
- Ты правда лекарь? – спросила Ольга Дулеба.
- Лекарь.
- Из Киева?
- Из Киева.
- И приехал, чтобы исцелить моего брата?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.